



ШАРЛОТТА БРОНТЕ

Джейн Эйр



Библиотека всемирной литературы (Эксмо)

Шарлотта Бронте
Джейн Эйр

«ЭКСМО»

1847

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Бронте Ш.

Джейн Эйр / Ш. Бронте — «Эксмо», 1847 — (Библиотека всемирной литературы (Эксмо))

ISBN 978-5-04-177579-7

Любовь, которая не подвластна ни времени, ни обстоятельствам, ни ударам судьбы. Если жизнь не балует, то можно ли ее ждать? Детство и юность воспитанницы пансионата для бедных девочек, Джейн Эйр, были безрадостными. Она вынуждена сама зарабатывать на хлеб, и кажется, что судьба к ней совсем не благосклонна. Все меняется, когда она устраивается гувернанткой в поместье загадочного мистера Рочестера. В ее жизнь приходит Большая Любовь. Но спасет она ее или погубит? Героине предстоит научиться принимать нелегкие решения и делать сложный выбор между чувством и долгом, сердцем и разумом, самопожертвованием и жизнью. Будет ли в конце этой пронзительной истории счастливый конец? Что бы ни случилось, вера в любовь и сострадание, в людей и справедливость, в человеческое достоинство и силу духа помогут героине с честью выдержать все испытания.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-177579-7

© Бронте Ш., 1847

© Эксмо, 1847

Содержание

Мужество таланта	6
Джейн Эйр	17
Глава I	17
Глава II	21
Глава III	26
Глава IV	32
Глава V	42
Глава VI	50
Глава VII	55
Глава VIII	62
Глава IX	67
Глава X	72
Глава XI	79
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Шарлотта Бронте

Джейн Эйр

Charlotte Brontë
JANE EYRE

© М. Тугушева, вст. ст., 2018

© В. Станевич, перевод. Наследники, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Мужество таланта

Первое упоминание о Хауорте, сельском пасторате в графстве Йоркшир, относится к концу XII века. Сейчас, в начале XXI, Хауорт – всемирно известный Мемориальный центр сестер Бронте, который ежегодно посещают тысячи почитателей творчества Шарлотты, Эмили и Анны. Начало массовому паломничеству положило создание в 1893 году Общества Бронте, организованного небольшой группой энтузиастов. В 1928 году на благотворительные пожертвования Обществу удалось выкупить у последних владельцев пасторский дом, в котором некогда жили Бронте, и теперь там находится прекрасный музей, где с преданной любовью и научной тщательностью воспроизведена обстановка. Там жили и творили сестры-писательницы.

Каждый год в июне на общее собрание и поминальную службу в Хауорт почти из всех стран мира съезжаются члены Общества и многочисленные туристы. По Главной улице, преодолевая довольно крутой подъем, толпа взбирается к церкви Архангела Михаила и Всех Святых, и трудно представить, что в 1847–1848 годах, когда были опубликованы романы «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Эгнес Грей», эта улица бывала пустынной, а Хауорт все еще оставался глухим, отрезанным от внешнего мира провинциальным селением.

Что же влечет туристов в сегодняшний Хауорт? Прежде всего легенда о трех романтических затворницах-сестрах «не от мира сего», которых снедали жажда творческого самовыражения и смертельный недуг (туберкулез). Может быть, поэтому большая часть почитателей сразу устремляется в церковь, где в апсиде, под каменными плитами пола, похоронена почти вся пасторская семья. Скорбный перечень открывает мать, Мария Бронте. Далее следуют имена детей: Мария, Элизабет, Патрик Брэнзуэлл, Эмили Джейн, Шарлотта – и завершает перечень его преподобие Патрик Бронте, переживший всех своих чад, в том числе и самую младшую дочь, Анну, которая умерла в Скарборо и там похоронена.

Из церкви паломники направляются в скромный пасторский дом. Справа от входа – кабинет мистера Бронте, слева – столовая с темно-красными занавесями. У правой стены стоит диван, на котором умерла Эмили. На стенах портреты: Шарлотты кисти Д. Ричмонда (оригинал находится в Национальной галерее) и У. Теккерея – ее любимого писателя. Наверху – спальни. В той, где умерла Шарлотта, в стеклянных витринах ее платья и неправдоподобно маленькие туфли, перчатки и чепчики: она была миниатюрна, ростом всего 1 метр 45 сантиметров. Здесь, на втором этаже, есть еще одна маленькая спальня – бывшая детская. В этой комнате на узкой низенькой постели иногда сидела юная Шарлотта, глядя в окно на угрюмое старинное кладбище. Посетители смотрят туда же и настраиваются на грустный лад. Вот так же, думают они, Шарлотта (и Эмили, и Анна) с дрожью взирали на поросшие мхом и лишайниками надгробия и размышляли о бренности бытия. Сразу же оговоримся: далеко не всегда. Мысли их, особенно Шарлотты и Эмили, бывали совсем иного свойства.

Шарлотте было четыре, когда в 1820 году отец получил назначение в этот йоркширский приход и перевез сюда семью, и здесь от мучительной болезни вскоре умерла его жена. Старшей дочери, Марии, исполнилось семь, младшей, Анне, – всего несколько месяцев.

Властный, эгоцентричный, превыше всего ценивший комфорт и покой, пастор Бронте редко покидал кабинет, где вкушал одинокие трапезы и готовил проповеди. Однако иногда он выходил к детям в столовую и наблюдал их необычные игры. Нередко они спорили, кто самый доблестный военачальник из всех: «герцог Веллингтон, Буонапарте, Ганнибал или Цезарь». Когда спор становился чересчур, по его мнению, громким, он «умиротворял» их. Иногда пастор и сам снисходил до «игры» и задавал детям совсем не детские вопросы. Так, однажды он спросил Шарлотту: «Какая книга лучшая в мире?» – «Библия», – ответила она. «А еще?» – «Книга Природы».

Патрик Бронте не раз убеждался, что его дети гораздо способнее и умнее своих сверстников. Тем более его беспокоила будущность дочерей. Если они не выйдут замуж, им придется служить гувернантками или учительницами. Значит, надо дать девочкам хорошее образование. Узнав о существовании недорогого пансиона для дочерей священнослужителей, он отправил туда Марию и Элизабет, а через несколько недель и Шарлотту. Пребывание в Коуэн-Бридж стало бедствием для сестер Бронте. Здесь было очень голодно и холодно, здесь буквально травмили Марию – за рассеянность и «неаккуратность» – и довели старших сестер Шарлотты до скоротечной чахотки.

После смерти Марии и Элизабет пастор Бронте стал осмотрительнее и отдал Шарлотту в Роухедскую школу сестер Вулер, где с учениками обращались более гуманно. Молчаливая и необщительная, Шарлотта была воплощением трудолюбия и чувства долга и скоро стала лучшей ученицей в школе. Несмотря на замкнутость, она приобрела здесь двух верных друзей – и на всю жизнь. То была смелая, порывистая Мэри Тэйлор и рассудительная, набожная Эллен Насси. В Роухеде Шарлотта провела полтора года и научилась всему, что в те времена требовалось от гувернантки: а это грамматика, арифметика, изящное рукоделие, рисование и французский язык. Дома ее ждали Эмили и Анна, всегда готовые учиться, когда не пребывали в своей воображаемой стране Гондал, о которой они сочиняли стихи и саги. Шарлотта и Брэнуэлл тоже обрели страну грез, Ангрию, где совершал геройские, а иногда и преступные деяния своенравный и обольстительный герцог Заморна. Первые литературные труды брата и сестры создавались под явным влиянием поэзии Байрона. Был и другой властитель романтического воображения Шарлотты и Брэнуэлла – «корсиканское чудовище», Наполеон. Поэтому иногда, сидя в маленькой спальне и глядя в окно, в которое теперь подолгу смотрят туристы, Шарлотта уносилась мечтами в мир ярких вольнолюбивых страстей. Подчас она и сама не знала, что реальнее: однообразная повседневность Хауорта или бурные события, совершавшиеся в фантастической Англии. «Мало кто поверит, – запишет она в дневнике, – что воображаемая радость может доставить столько счастья».

А затем пришло письмо от мисс Вулер. Она предлагала Шарлотте место помощницы в своей школе и, в счет части жалованья, обучение Эмили. Та, однако, оказалась неспособной существовать без Хауорта, где в любой час могла внезапно сорваться в долгую прогулку по вересковым холмам и долинам, и ее место в школе заняла кроткая Анна, которая стала общей любимицей. Шарлотту тоже все больше тяготило пребывание в Роухеде. На рождественских каникулах 1836 года она отправила письмо поэту Роберту Саути. Прилагая к письму свои стихи, девушка почтительно спрашивала, способна ли она стать профессиональной писательницей? Поэт-лауреат был строг. «Литература не может быть уделом женщины и не должна им быть», – внушал он неизвестной корреспондентке. Однако стихи ему понравились, и он «разрешил»: «Пишите стихи ради них самих, без излишней гордыни, не рассчитывая на славу. Тогда это занятие не повредит ни сердцу вашему, ни уму». По счастью, Шарлотта Бронте совету Саути не последовала. Особенно уязвило ее утверждение, что литература – не женское дело. У нее на этот счет складывалось совсем иное мнение.

В двадцать два года она снова вернулась в Хауорт, но не в Ангрию. У Шарлотты появился небольшой, однако весьма реальный и прозаический житейский опыт. Заморне с его авантюрами уже не удавалось владеть всеми ее помыслами, но в одном она оставалась ему верна. Ее будущий избранник тоже должен быть своеобразен, оригинален, обаятелен. Поэтому она отвергает предложение брата Эллен, Генри Насси. Генри, став помощником священника, решил, что ему надо жениться, а жену взять такую, которая способна совмещать супружеские обязанности с обучением детей прихожан в церковной школе. Отвечая отказом, Шарлотта пишет: «Я презираю обман и никогда ради того, чтобы обрести почтенное положение замужней дамы и избежать клейма старой девы, не выйду за достойного человека, которого, по моему понятию, не смогу сделать счастливым».

Между прочим, по викторианским понятиям, ей уже полагалось быть «устроенной», она же отказывалась от вполне обеспеченного положения, не имея иной перспективы, кроме нелюбимого труда гувернантки. А работать было необходимо. Брэнзуэлл не оправдывал надежды семьи. Не став, как мечтал, литератором, он занялся живописью в надежде освоить ремесло портретиста, однако художник он был посредственный и постоянной клиентуры не нашел. Брэнзуэлл бездельничал, все чаще его видели в окрестных тавернах, а в поисках вдохновения он постепенно пристрастился к опиуму. Его мало заботила материальная зависимость от отца – не то что сестер. Даже Эмили, с ее органической потребностью жить только в Хауорте, полгода преподавала в пансионе. Анна, стойкая и решительная при всей своей кротости, уже служила гувернанткой и посылала домой мужественные письма. Шарлотта тоже получила предложение знатного семейства Сиджвиков – опекать и учить двоих избалованных сорванцов, мать которых вела себя с ней очень высокомерно. Хозяйке не нравилась застенчивая, но гордая девушка. Шарлотту вскоре рассчитали, и она опять вернулась в Хауорт, где ей неожиданно снова сделали предложение: на этот раз начинающий ирландский пастор Брайс, и он Шарлотте как будто понравился: был весел и остроумен. Однако слишком скоропалительно он предложил ей руку и сердце, а признанию – так она считала – должна предшествовать длительная и волнующая романтическая прелюдия.

В марте 1841 года она снова в гувернантках. Новая хозяйка держалась мило и приветливо, но требовала от Шарлотты помимо занятий с детьми шитья на них по вечерам, не оставляя ей ни минуты досуга, а Шарлотта уже работала над романом «Эшворт» (к сожалению, незаконченным)¹. И тут ее осенило: что, если три сестры Бронте откроют свою школу? Тогда не надо будет зависеть от чужой воли и капризов. Однако для этого необходимо самим еще поучиться, например усовершенствовать знание французского. На помощь пришла тетушка: она согласилась оплатить (в долг) учебу Шарлотты и Эмили в Брюсселе в пансионе супругов Эгер.

Сначала пансион произвел на сестер хорошее впечатление: помещения просторные, полные света и воздуха; в прекрасном саду цветут розы; сна и еды достаточно. Здесь бы несчастные Мария и Элизабет не зачахли от голода, болезни и черствого обращения. Однако Шарлотта и Эмили принадлежали к протестантской церкви. Воспитанные в суровом пуританском духе, они усмотрели в свободном режиме «растлевающее» влияние католицизма, который, как они считали, всегда идет на уступки плоти в ущерб духу. Но с этой обстановкой Шарлотту примиряло общение с господином Эгером, мужем хозяйки пансиона и преподавателем французской словесности, человеком умным, вспыльчивым, требовательным к тем, в ком он чувствовал способности, – и обаятельным. Прошло полгода, и мадам Эгер, оценив работоспособность сестер Бронте, предложила Шарлотте место учительницы английского языка, а Эмили должна была давать уроки музыки – и это взамен платы за собственное их обучение. Шарлотта и Эмили согласились, но пришла весть о смерти тетушки, и надо было срочно ехать в Англию. Вернулась в Брюссель только Шарлотта, Эмили не захотела больше расставаться с домом.

Рано утром, до занятий, Шарлотта гуляла в саду и нередко встречала господина Эгера, ухаживавшего за розовыми кустами. Он продолжал давать ей уроки французской литературы, она учила его английскому. Время от времени он дарил ей книги, очевидно не придавая этому особого значения, но для Шарлотты эти маленькие знаки внимания были началом новых, неизведанных отношений, в которых она сама отвела себе роль послушливой и восторженной ученицы. «Рисунком» своих отношений с Эгером Шарлотта воспроизводила тот романтический идеал, который с легкой руки Гёте стал бродячим сюжетом в литературе и вызвал немало подражаний в жизни. Преклонение Миньоны перед Вильгельмом Майстером не только умиляло

¹ См. перевод нескольких глав романа «Эшворт» в издании: *Шарлотта Бронте. Шерли. Эшворт*. М.: Эксмо, 2004. – (2-е издание).

читательниц, оно казалось высшей формой отношений женщины и мужчины. А разве сам Гёте и юная Беттина фон Арним, преданно устраивающаяся на скамеечке у ног великого Олимпийца, чтобы внимать его мудрым речам, не подали этот идеальный пример отношений Ученицы и Учителя грядущим поколениям романтически настроенных дев?

Однако Шарлотта Бронте страстно полюбила своего Учителя, и это не укрылось от глаз супругов. И вот постепенно прекратились уроки литературы, затем – английского языка. Шарлотта с каждым днем чувствовала себя все более одинокой и несчастной. Учитель явно ее избегал. На помощь приходило воображение. Мысленно она проживала волнующее развитие отношений, а так как действительность почти не давала для этого пищи, неразделенное чувство питалось крохами воспоминаний о прежних разговорах и встречах. Она страдала и в январе 1844 года вернулась в Хауорт. В письме к Эллен Насси она признавалась: «Думаю, сколь долго бы я ни прожила, я не забуду, чего мне стоило расставание с господином Эгером». Правда, еще оставалась слабая надежда: хотя бы перепиской продолжать дорогие ей отношения.

«...Я не прошу Вас писать мне часто, потому что боюсь надоесть Вам своими письмами... Непременно, как только я заработаю достаточно денег, чтобы приехать в Брюссель, я приеду и опять, хотя бы на мгновение, встречу с Вами» (июль 1844).

«...Мсье, беднякам немного нужно для пропитания, они просят только крошек, что падают со стола богачей. Но если их лишить этих крох, они умрут с голода. Мне тоже не надо много любви со стороны тех, кого я люблю. Я не знала бы, что делать с дружбой, принадлежащей мне целиком, мне одной, я к этому не привыкла, но Вы проявили ко мне небольшой интерес, когда я была Вашей ученицей в Брюсселе, и я упорно хочу сохранить этот интерес – я цепляюсь за него, как бы цеплялась за жизнь» (8 января 1845).

«...простите меня, мой дорогой Учитель, – пусть не раздражает Вас моя печаль, ибо, как сказано в Библии: «от полноты сердца уста глаголют», и мне действительно трудно быть веселой, если я думаю, что больше никогда Вас не увижу... Ш. Б.» (18 ноября 1845?).

На полях этого письма ее учитель записал фамилию своего сапожника...

Возможно, господин Эгер тоже находил некую прелесть в отношениях Учителя и Ученицы, но такие отношения были столь невинны, что мадам Эгер принимала их как должное. Иное дело – «мисс Шарлотта». Она его любила. К тому же она не могла, да и не хотела, очевидно, скрывать свои чувства: их отношения – высшего порядка, они имеют право существовать независимо от того, женат мсье или нет. Он, однако, полагал иначе. Господин Эгер (между прочим, католик) был очень строг в вопросах нравственного долга, а кроме того, очевидно, любил жену и не хотел доставлять ей беспокойства приватной перепиской. Поэтому ответом на жалобы и мольбы Шарлотты было мучительное молчание. Наверное, если бы она могла оставить Хауорт, перемена места смягчила бы эту сердечную муку. Решительная Мэри Тэйлор собиралась эмигрировать в Новую Зеландию и звала ее с собой. Но Шарлотта была старшая, она должна вести дом, чтобы ничто не нарушало комфорт и покой «папы». Итак, она осталась дома, откуда посылала Эллен Насси тоскливые письма: «...Жизнь уходит, и скоро мне будет тридцать, но я еще ничего не сделала... а я жажду путешествовать, работать, жить деятельной жизнью».

Однако Шарлотта Бронте не принадлежала к числу людей, готовых подчиниться разочарованию и безнадежности. Однажды, осенью 1845 года, она случайно обнаружила тетрадь со стихами. Это был почерк Эмили. Стихи были жестки, лаконичны и неподдельно искренни, а главное – исполнены особой «музыки... дикой, меланхолической и возвышенной». Анна тоже писала стихи. Были стихи и у Шарлотты. Так почему бы им не опубликовать поэтический сборник? Было решено печататься под мужскими псевдонимами. Фирма «Эйлот и Джонс» согласилась издать «Стихотворения Керрера, Эллиса и Эктона Беллов» за авторский счет, и в конце мая 1846 года небольшой сборник вышел в свет, а уже в июне в литературно-критическом журнале «Атенеум» появился благосклонный отзыв, причем высокой похвалы удостоился Эллис

Белл (Эмили), «беспокойный дух» которого произвел на свет «столь оригинальные стихотворения». Ободренная первым общим успехом, Шарлотта снова обратилась к господам Эйлоту и Джонсу: не заинтересует ли их проза «братьев Беллов»? Она имела в виду свой первый роман «Учитель», а также «Грозовой перевал» Эмили и «Эгнес Грей» Анны.

«Учитель» доставил Шарлотте много огорчений и был опубликован только после ее смерти...

В истории любви молодого учителя Уильяма Кримсуорта и его ученицы Фрэнсис Анри, а также в отношениях Зораиды Рейтер, директрисы пансиона для девочек, и преподавателя литературы г-на Пеле много автобиографических деталей, но еще больше позаимствовано из отношений воображаемых. Пережив увлечение Зораидой, которая поздним вечером принимает у себя Пеле, Уильям обращает внимание на скромную, но очень способную иностранку Фрэнсис Анри, которая наделена одухотворенной привлекательностью и выгодно отличается целомудренной сдержанностью от других пансионеров, уже «развращенных» католической вольностью нравов. Коллизия завершалась счастливым браком учителя и ученицы, однако роман был единодушно отвергнут всеми издателями, к которым обращалась Шарлотта: в нем не было ничего таинственного и мелодраматичного, а героиня к тому же была некрасива, более того, полемически некрасива. Фрэнсис не обладала ни привычными для читателей шелковистыми локонами (предпочтительно золотистого цвета), ни коралловыми устами, и автор не стремился сгладить некрасивость героини голубиной кротостью характера или обаянием женственности. Фрэнсис была олицетворением «красоты *трудной*» (как называл это качество С. Т. Кольридж), которую надо постичь за ничем не примечательной внешностью (как тут, кстати, не вспомнить другой образец «трудной красоты» – некрасивую и прекрасную княжну Марию Льва Толстого?)...

Однако неудача Шарлотту не сломила. Все еще упорствуя и пересылая злосчастного «Учителя» от издателя к издателю, радуясь успеху сестер – и «Грозовой перевал», и «Эгнес Грей» были приняты к публикации, – она тоже возымела надежду. Издатели Смит и Элдер, как и прочие, возвратили ей «Учителя», но с мотивированным объяснением, а главное – они распознали в «Керрере Белле» несомненный литературный дар и сообщили, что с интересом ознакомятся с его новым произведением.

24 августа 1847 года Шарлотта Бронте выслала им рукопись романа «Джейн Эйр». 16 октября того же года он увидел свет. Это был успех – быстрый, ошеломительный, грандиозный. Иначе и быть не могло: роман был написан с таким напряжением страсти, с такой силой искренности, что это не могло не взволновать читателя. Потрясали сцены жизни и учения маленькой Джейн в «Ловудском благотворительном заведении для бедных девиц», основой для которых послужил тяжкий, а для Марии и Элизабет убийственный опыт обучения в пансионе Коуэн-Бридж. Одиннадцатая же глава романа переносила читателя в область самого увлекательного романтического вымысла. Теперь Джейн Эйр, молодая, сильная духом гувернантка, отстаивает свое человеческое достоинство в постоянном единоборстве воли, характеров, представлений о жизни с тем человеком, которого она полюбит и который полюбит ее.

Роман был прекрасно написан. Суховатые и сдержанные, «графические», ловудские главы сменялись торнфильдской частью романа с ее нервно пульсирующим стилем, который так соответствовал нарастающей страсти Рочестера и Джейн.

...Еще до начала работы над романом Шарлотта как-то упрекнула сестер: зачем их героини красивы? «Но ведь иначе читателя не привлечешь», – ответили Эмили и Анна. «Вы ошибаетесь, – сказала Шарлотта. – Хотите, моя героиня будет некрасивой внешне, но по-человечески настолько интересной, достойной и привлекательной, что ее непременно полюбят?» И в «Джейн Эйр» ей это прекрасно удалось. Конечно, у Шарлотты уже был некоторый опыт создания образа «трудной красоты» – Фрэнсис Анри. Но «заставить» Рочестера, этого «бывшего» Заморну, страстно полюбить не роскошную красавицу Бланш Ингрэм, а некрасивую маленькую гувернантку, всегда в черном, всегда серьезную и печальную, и *убедить* читателя в под-

линности, искренности и непреложности такой любви, убедить его и в том, что Джейн Эйр, в которой воплотилось представление Бронте о силе духа и непреклонной воле неимущей, но гордой девушки, неспособной пойти на компромисс с совестью ради богатства и роскоши, – для этого надо было обладать действительно замечательным мастерством.

Шарлотта Бронте могла бы завершить роман вполне реалистическим финалом: Джейн уезжает с Сент-Джоном Риверсом в Индию, чтобы заняться миссионерской деятельностью. Это было бы так в духе времени. Такой финал, возможно, примирил бы некоторых критиков с романтической торнфилдской интерлюдией, с ее борениями любви и гордости. Однако было в романе «Джейн Эйр» еще одно качество, вызвавшее негодование рецензентов: так, респектабельный журнал «Квотерли ревью» объявил роман «прежде всего и абсолютно антихристианским сочинением», ибо «в книге чувствуется гордыня и настойчиво утверждаются права человека». Да, мир Шарлотты Бронте был миром не только чувственных, но и мятежных страстей. Ее героиня не желала жить по-старому, покорясь воле тех, кто богаче ее и сильнее. «Вы думаете, я стерплю, когда у меня изо рта вырывают кусок хлеба, отнимают последнюю каплю живой воды из чаши моей?» – бросает она в лицо Рочестеру, которому вздумалось довольно зло подшутить над ее любовью...

«Джейн Эйр» опередила на год романы Эмили и Анны.

Элизабет Гаскелл в «Жизни Шарлотты Бронте» (1857) отмечала, что «Грозовой перевал» «вызвал отвращение у многих читателей той выразительностью и силой, с которой были изображены дурные и непохожие на обычных смертных персонажи». Да, роман Эмили действительно было трудно воспринять в его художественном своеобразии, но в XX веке удивительную силу «Грозового перевала» ощутили вполне. Впрочем, и Гаскелл причислила его к «гениальным творениям», хотя и не совсем охотно, потому что ее ставила в тупик почти садистская жестокость Хитклифа, который, говоря словами нашего поэта, «весь мир возненавидел», чтобы «любить сильнее» свою Кэтрин. Поэтому «Атенеум», довольно высоко оценивший романтическую поэзию «Эллиса Белла», характеризовал роман как «неприятную историю, рассказывающую о болезненном и исключительном, делающую акцент на актах физической жестокости, созерцание которых отвращает истинный вкус». Критик, однако, ни словом не обмолвился о той моральной силе и мудрости, которые в романе «Грозовой перевал» неизменно противостоят жестокости, своенравию, коварству и безумию главных героев, а это – разумное и справедливое отношение к происходящему служанки Нелли Дин. Она осуществляет суд совести над всеми поступками героев романа, и этот суд суров и всегда неподкупен...

Кстати, нельзя не отметить, что романтическое повествование Эмили Бронте, где дается простор самой причудливой фантазии, где стенают и бродят по вересковой пустоши привидения, а главный герой воплощает темное, бесовское начало, – иногда производит впечатление большего знания подлинной жизни, чем торнфилдские сцены и финал «Джейн Эйр». Силой своего таланта Шарлотта Бронте заставляет нас поверить в любовь Рочестера и Джейн и сделать правдоподобным счастливый конец романа. А вот в «Грозовом перевале» стихийные, роковые страсти Хитклифа и Кэтрин, невозможность им соединиться, предательство Кэтрин по отношению к Хитклифу объясняются весьма прозаически: ее дворянским снобизмом. Безродному Хитклифу она предпочитает богатого Эдгара Линтона, потому что теперь, как говорит Кэтрин осуждающей ее Нелли Дин, она «станет первой дамой в долине».

По отношению к роману «Эгнес Грей» современная критика была неодобрительна, да и сейчас нередко можно слышать, что произведение это заслуживает внимания главным образом как компонент общей картины творчества сестер Бронте. Невольно начало этой традиции недооценки положила сама Шарлотта, преклонявшаяся перед «гением» Эмили, но весьма снисходительно оценивавшая творчество младшей сестры, очевидно и потому, что Анна предпочитала держаться почвы реальности и к полетам фантазии относилась довольно иронично. Анна Бронте мужественно и достойно шла тяжким путем – служила гувернанткой, до самого

конца своей короткой жизни оставаясь «наемницей», как с горечью называла себя ее Эгнес Грей. Как ее любимая сестра, Анна спустя пять месяцев после смерти Эмили умерла от туберкулеза. Буквально накануне Анна закончила второй роман, «Хозяйка Уайлдфелл-холла», который критики потом нарекли «жоржсандовским». Трудно сказать, в каком направлении развивался бы талант Анны Бронте, возможно, и она бы заняла в английской прозе такое же видное место, как старшие сестры, если бы не безвременная смерть, но стойкостью духа она им не уступала.

«Мужайся, Шарлотта, мужайся», – были ее последние слова. А Шарлотте Бронте, несмотря на литературный успех, после смерти сестер и неудачника брата, действительно требовались все силы ее незаурядной души и мужество таланта, чтобы переплавить горечь утраты в творческую энергию.

В 1849 выходит ее роман «Шерли». В его героинях, следуя долгу любви, она воплощает образы сестер, трагически умерших в расцвете таланта. Так, в Шерли Килдар отразились некоторые черты загадочной натуры Эмили, а для Кэролайн Хелстон прототипом послужила Анна.

К этому времени, хотя Шарлотта и привыкла в письмах к издателям называть себя и сестер псевдонимами, обнаруживается тайна ее авторства. Друзья – Эллен Насси и Мэри Тэйлор – гордятся ею, мисс Вулер, опасаясь, что писательство может повредить репутации бывшей ученицы, спешит ее заверить, что, во всяком случае, она «не изменит к ней прежнего отношения». Крестная Шарлотты была шокирована открытием, что крестница пишет, и прервала с ней отношения. Зато появились новые друзья – общественная деятельница Гарриэт Мартино, писательница Элизабет Гаскелл, издатель Джордж Смит. Шарлотта принимает его предложение посетить Лондон. Смит и его мать оказывают Шарлотте Бронте самый радушный прием и знакомят ее с Теккереем, на которого она произвела очень благоприятное и трогательное впечатление.

«Помню маленькое, дрожащее от волнения создание, маленькую руку, большие честные глаза... Я представил себе суровую крошечную Жанну д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль. Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного, возвышенного», – напишет он потом в своих воспоминаниях «Последние наброски» (1860).

«Большие честные глаза» были еще и очень зорки, и у гостей Смита появлялось ощущение, что их «наблюдают и анализируют». А ее «наблюдала» миссис Смит: сын явно был заинтересован новой знаменитостью, и, пожалуй, не только как издатель. Смит и литературный консультант издательства Уильямс старались сделать пребывание Шарлотты в Лондоне приятным. Ее вывозили в театр, в Национальную галерею, она посетила Гарриэт Мартино и дважды виделась с Теккереем. Его визит к ней был вызван резкой рецензией в «Таймс» на роман «Шерли», и «титан мысли» – как называла его Шарлотта – хотел, очевидно, убедиться, что автор обладает стоической силой, свойственной ее героиням. Как ни была уязвлена Шарлотта Бронте, Теккерей она встретила спокойно, ничем не выдав своей обиды на рецензию.

Зима 1850 года для нее оказалась тяжелой. Когда уставшие глаза не позволяли больше читать или шить, Шарлотта предавалась воспоминаниям. Завывал норд-ост, и в жалобах ветра ей иногда чудились голоса сестер, и не раз она, подобно Хитклифу, готова была умолять их «души» «войти». Она была на пределе крайнего нервного истощения. Когда в Хаурт пришла весна, Шарлотта уходила в долгие прогулки. Как любила эти заросли вереска Эмили – пишет она Джеймсу Тэйлору, служащему фирмы «Смит и Элдер», а Анна любила «голубые дали», «бледные туманы», «тени на горизонте». Но вот опять она получила от миссис Смит приглашение приехать в Лондон. В этот раз Шарлотта побывала на ежегодной летней выставке Королевской академии живописи в Сент-Джеймской церкви, где с почтением взидала на кумира всей своей жизни престарелого героя Ватерлоо, герцога Веллингтона, несколько раз встречалась с Теккереем. Он пригласил ее к себе на обед с литературными и светскими дамами. Они с

любопытством ожидали встречи с «Джейн Эйр» и предвкушали красноречивый диалог между хозяином дома и гостьей. Дамы были разочарованы: Шарлотта Бронте подолгу молчала, и разговор касался, главным образом, погоды и того, «как вам понравился Лондон». Дамы остались недовольны ее внешностью и тем, как убраны волосы, и платьем, сшитым провинциальной портнихой. «Джейн Эйр» показалась им «утомленной собственной умственностью», как саркастически отозвался присутствовавший здесь известный английский художник Миллес. Впрочем, он заметил «оригинальность» ее черт и был разочарован, узнав, что по настоянию Смита она уже позирует портретисту Д. Ричмонду.

В этот ее визит в Лондон Джордж Смит был особенно предупредителен и любезен. Он действительно испытывал к ней большой интерес. С ним она чувствовала себя свободно, и он мог насладиться общением с ней. Она говорила хорошо, умно и откровенно. Смит предложил поехать с ним и его сестрой в Шотландию. Шарлотта сначала отказалась, но Смит умел настоять на своем. Так она побывала в Эдинбурге и Эбботсфорде. А что касается Смита – она признавалась в письме к Эллен: «То, что я старше его на шесть-восемь лет, не говоря уже о полном отсутствии притязаний на красоту и тому подобное, – прекрасное спасительное средство». Очевидно, спасительной была и память об Эгере. Прежняя любовь отступила, но не забывалась, для Шарлотты она была постоянным фоном, на котором разворачивались новые события жизненной драмы, а кроме того, очевидно – недостижимым идеалом, к которому примеривались новые симпатии.

Вернувшись домой, она впала в подавленное состояние. Теперь, когда не было Эмили и Анны, каждое возвращение вызывало приступ тоски. Внезапные переходы от замкнутой, одинокой жизни в Хауорте к «лондонской бурной стихии» и обратно тяжело сказывались на ее самочувствии, что начало тревожить отца. Он стал докучливо опекать дочь, а кроме того, вдруг решил, что Шарлотта скоро выйдет замуж, и это его очень беспокоило – не только из-за старческого эгоизма. Он был уверен, что ее здоровье не выдержит бремени супружеских обязательств. Но были и радости: например, встречи с Элизабет Гаскелл, которой Шарлотта Бронте нравилась «удивительным сочетанием простоты и силы». Очень обрадовало ее и предложение Смита выпустить вторым изданием «Грозовой перевал» и «Эгнес Грей», а также стихи сестер. Шарлотта отобрала восемнадцать стихотворений Эмили и семь из оставшихся после Анны. Она тщательно готовила их к изданию, и когда вновь перечитала «Грозовой перевал», чтение наполнило ее гордостью за Эмили, она опять ощутила необычную эмоциональную силу романа. В декабре 1850 года романы сестер были изданы с предисловием Шарлотты и краткими биографическими справками, и она очень была растрогана, когда журнал «Палладиум» опубликовал восторженную рецензию.

Всю зиму 1851 года она переписывается с Джеймсом Тэйлором, который питал к ней не только профессиональный интерес. Однако на его предложение Шарлотта ответила отказом – сердце ее было «немо» к мистеру Тэйлору. Оно не осталось, однако, «немо» к Джорджу Смигу. Шарлотта уже не могла заблуждаться относительно того, что питает к своему издателю более нежное чувство, чем позволяют «разум» и «страх разочарования». Она снова готовится к поездке в Лондон и на этот раз тщательно выбирает ткань для нового платья, шляпу и прочее, необходимое для пребывания в столице. Может быть, впервые в жизни ей захотелось сшить выходное платье не черного или коричневого цвета. Ей приглянулась ткань «прелестного бледного оттенка», но та была слишком дорога. Пришлось опять выбрать черный шелк, о чем она потом сожалела, так как «папа», оказывается, «смог бы одолжить ей соверен». (Интересно, насколько она располагала заработанными деньгами. Элизабет Гаскелл, например, долго получала литературные гонорары в присутствии мужа, которые он с удовлетворением прятал в свой кошелек. В XIX веке собственностью женщины владел муж или отец.)

Очевидно, в эту ее поездку Джорджем Смитом был решен вопрос о перспективе отношений с Шарлоттой Бронте. Он вполне серьезно мог обдумывать возможность брака с литератур-

ной «звездой», многообещающей писательницей, но этого союза не желали его мать и сестры. Очевидно, между Бронте и Смитом состоялось объяснение. В какой-то мере отношения с ним отозвались в ее романе «Виллет» («Городок»)².

Начиная работу, Шарлотта Бронте не предполагала, что ее первый роман «Учитель» когда-нибудь увидит свет, и поэтому немало заимствует из него. Эксцентричный господин Пеле перевоплощается здесь в профессора Поля Эмманюэля. Зораиде Райтер пришла на смену коварная иезуитка мадам Бек, а Фрэнсис Анри стала учительницей пансиона Люси Сноу. Люси равнодушна к молодому и красивому доктору Джону Бреттону («Смит». – М. Т.), а он, проявив к ней сначала довольно нежное внимание, вдруг забывает о ней. Единственное ее утешение, а потом и радость – дружба Поля Эмманюэля («Эгер». – М. Т.). Он объясняется с Люси, снимает для нее дом с просторной классной комнатой, и Люси становится директрисой маленькой школы. Однако жениться он сейчас не может, ему предстоит далекое и долгое, на целых три года, путешествие за океан. Но вот наступает время возвращения. Люси с нетерпением ждет Поля Эмманюэля в своем маленьком домике, где полно его любимых книг, однако Поль Эмманюэль погибает во время бури на океане, а Люси навсегда остается одинокой и несчастной. Напрасно отец, Патрик Бронте, не любивший грустных концов, изъявлял желание, чтобы роман кончался благополучно. Идея гибели Эмманюэля и невозможность счастья были так «впечатлены», по словам Э. Гаскелл, в воображение Бронте, что роман неминуемо должен был кончаться трагическим финалом.

Героиня последнего романа Бронте очень изменилась по сравнению с пылкой и страстной Джейн Эйр или «язычницей» Шерли. Люси – холодна (и ее «холодная» фамилия, Snow³, – неслучайна). Бронте мастерски воспроизводит монотонную унылость, мрачность и холодное спокойствие Люси, ее раздражительность и менторство, с которыми она относится к жизнерадостной, но циничной красавице Джиневре Фэншо. Большой психологической удачей явился и образ Поля Эмманюэля. Прошло семь лет с тех пор, как Шарлотта послала Эгеру последнее письмо. За эти годы в ее жизни произошли большие перемены, и в относительном спокойствии она могла оглянуться и попытаться проанализировать, чем было вызвано то страстное и мучительное чувство. Теперь она лучше, реальнее понимала и характер, и поступки человека, которого любила. Воспоминание об этой любви сослужило ей добрую службу: оно помогло преодолеть новое разочарование, хотя в «Виллет» она как бы мимоходом скажет о «смертельной боли разрыва, вырывающей с корнем и надежду, и сомнения, и тем самым почти отнимающей жизнь».

Нежелание Шарлотты Бронте закончить роман «Виллет» счастливым финалом не было авторским капризом. В известной степени оно было продиктовано реальными обстоятельствами ее личной жизни, но также – сознательным стремлением к правде. Об этом она пишет Джорджу Смигу, который тоже предпочел бы счастливый конец. «Дух романтики указал бы другой путь, более красочный и приятный. Но это было бы не так, как бывает в реальной жизни, не соответствовало бы правде, находилось бы в разладе с вероятностью...»

По мере творческого развития Шарлотты Бронте возрастала и ее сопротивляемость иллюзии, стремление прочь от «возвышающего обмана» к суровой правде, к реалистическому пониманию себя и других.

Окончив работу над романом «Виллет», Шарлотта Бронте чувствует себя вправе немного отдохнуть и с удовольствием принимает предложение миссис Смит погостить у нее, тем более что рассчитывает совместить отдых с чтением гранок – Смит обещал незамедлительно послать рукопись в типографию. Но есть еще одна причина, заставляющая ее в начале января 1852 года поспешно покинуть Хауорт. Помощник пастора Бронте, Артур Белл Николлс, делает ей

² Под таким названием роман издавался в переводе Е. Суриц и Л. Орел.

³ «Snow» – «снег» (англ.).

предложение, что явилось для нее неожиданностью, и не очень приятной, а отец, услышав об этом, пришел в сильнейшее негодование и выразил его в «крепких словах». Артуру Николлсу она отказала и отбыла в Лондон, где на этот раз старалась познакомиться с «реальной стороной жизни, а не показной». Она посещает больницы, тюрьмы, банк, биржу.

В феврале появляются первые рецензии на «Виллет». Они лестны, и Шарлотта чувствует радость и успокоение: ведь это – победа. В романе «Виллет», как и в отвергнутом «Учителе», не было ничего романтического, а, главное, конец был не во вкусе широкой публики.

Прочитав «Виллет», Теккерей писал одной из своих американских знакомых: «Бедная женщина, обладающая талантом. Страстное, маленькое, жадное до жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание. Читая ее романы, я догадываюсь, как она живет, и понимаю, что больше славы и других земных или небесных сокровищ она хотела бы, чтобы какой-нибудь Томкинс любил ее, а она любила его. Но дело в том, что это крошечное создание ну нисколько не красиво, что ей тридцать лет, что она погребена в деревне и чахнет от тоски, а никакого Томкинса и не предвидится. Вокруг вас, хорошеньких девушек, вьются десятки молодых людей, а тут талант, благородное сердце жаждет слияния с другим, а вместо этого осуждено иссыхать в стародевичестве без всякой надежды утолить свои пламенные желания».

Знаток человеческих сердец на этот раз ошибался. Как раз «Томкинсы» у нее были: Генри Насси, Брайс, Тэйлор, а теперь вот Николлс, однако сначала было трудно отрешиться от романтического идеала, а потом – от воспоминаний об Эгере. «Страстное, маленькое, жадное до жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание» было еще и очень требовательно. Но что же предстояло? Кроме одиночества – неуверенность в литературном будущем, хотя был уже задуман новый роман. Тревожило ее и материальное положение. Брак с Николлсом, самым вероятным преемником пастора Бронте в Хауорте, означал более или менее сносное существование, если она не сможет заниматься литературным трудом, поэтому Шарлотта приняла вторичное предложение Николлса, и 29 июня 1854 года брак был заключен.

Спустя сто пятьдесят лет, в июне 2004-го, в церкви Святого Архангела Михаила состоялась поминальная служба, в частности и в память об этой дате. Около каменных плит, под которыми вместе с родными покоится Шарлотта Бронте, возвышался огромный венок из белых роз и гвоздик – как напоминание о свадебном букете невесты. Епископ из Брэдфорда произнес проповедь о событии полуторавековой давности. Увы, даже он не счел возможным назвать это событие счастливым, но говорил о неисповедимости путей Господних, быстротечности жизни и тщете человеческих надежд.

Ровно через пять месяцев после свадьбы, как явствует из письма Шарлотты к Эллен, она села за письменный стол, чтобы поработать над новым романом «Эмма», но «Артур» позвал ее на прогулку. На обратном пути они попали под проливной дождь, и Шарлотта сильно простудилась. Болезнь оказалась затяжной. Вскоре началась мучительная тошнота, которую врач приписал «естественным причинам». Служанка Марта преданно ухаживала за хозяйкой и пыталась подбодрить ее разговорами о будущем ребенке, но Шарлотта Бронте была слишком слаба, чтобы радоваться, слишком уже больна. Когда наступили беспамятство и бред и стали читать отходную, она пришла в себя и спросила: «Я не умираю, нет?..»

Однако мрачное предвидение Патрика Бронте сбылось. 31 марта 1855 года последняя из сестер Бронте умерла...

После смерти Шарлотты отец, переживший ее на шесть лет, просил Элизабет Гаскелл, верного друга дочери, написать историю «ее жизни и трудов». Гаскелл сразу согласилась, ощущая потребность – пишет она Джорджу Смиту – поведать о «жизни странной и печальной и прекрасном человеке, которого такая жизнь создала». Летом 1855 года она приезжает в Хауорт и просит дать ей возможность ознакомиться с письмами Шарлотты. Николлс, отрицательно относившийся к идее биографии, неохотно передал ей полтора десятка писем. Эллен Насси

была гораздо щедрее: от нее Гаскелл получила триста пятьдесят. Гаскелл ездила и в Брюссель. Эгер принял ее холодно, однако потом, вступив в переписку, поделился воспоминаниями о Шарлотте и Эмили. В марте 1857 года Смит и Элдер опубликовали первое издание «Жизни Шарлотты Бронте», а уже в ноябре появилось издание третье. Мэри Тэйлор считала, что Гаскелл все же не удалось в полной мере отобразить «меланхолическую картину этой жизни... она выглядит не столь мрачной, как то было в действительности...».

Книгу Гаскелл жадно читали и в Англии, и за океаном, как удивительный документ, свидетельствующий о человеческом мужестве. Луиза Мэй Олкотт, автор известного у нас романа «Маленькие женщины», была не только потрясена «печальной, безотрадной жизнью» Шарлотты Бронте, но тогда же дала себе слово «взять судьбу за горло и тоже быть полезной обществу женщиной».

Элизабет Гаскелл стремилась воссоздать истинный человеческий облик Бронте: она была знакома с Шарлоттой и пользовалась ее доверием, но сейчас нередко можно услышать сожаления о том, что Гаскелл слишком «сдержанно» рассказала о личной жизни Шарлотты, и нередко, словно с целью заполнить «пробелы», а также под стимулирующим воздействием сексуальной революции многие западные критики интерпретируют творчество сестер Бронте в свете фрейдистской психосексологии. Несчастливая любовь Шарлотты к Эгеру, ее увлечение Д. Смитом, ее поздний брак, одиночество Эмили и Анны – все это повод к бесконечным рассуждениям о подавленных импульсах и внутренней «агрессивности», особенно когда речь заходит об Эмили, которой, как нередко утверждается, была свойственна «врожденная неприязнь к мужчине». Отмечается, однако, и то, что именно в творчестве Шарлотты Бронте и ее сестер возникает образ новой женщины – существа свобододолюбивого, независимого, равного мужчине по интеллекту и силе характера. Образ непокорной Джейн Эйр нашел отклик в произведениях английской поэтессы Элизабет Браунинг и писательницы Джордж Элиот, но особенно много подражаний вызвала «Джейн Эйр» за океаном. Укореняется сама типология образа бедной, но гордой девушки и конфликта, «заданного» Шарлоттой Бронте: героиня (необязательно гувернантка, но, как правило, молодая девушка или женщина) оказывается в неблагоприятных обстоятельствах и только благодаря своей моральной цельности, стойкости, уму и твердому характеру преодолевает жизненные невзгоды. Без преувеличения можно сказать, что Шарлотта Бронте ввела в мировую литературу в лице своей одинокой, гордой и неимущей героини «бродячий» образ, который неожиданно отзывается в творчестве самых разных писателей. Невозможно не вспомнить, например, рассказ А.П. Чехова «Дочь Альбиона», где сначала фарсовая (у Чехова) ситуация поднимается потом до высокого драматизма.

XX век принес с собой множество кино- и телеэкранизаций романов сестер Бронте. Первое место здесь занимает, конечно, «Джейн Эйр» (более двадцати фильмов), но и Хитклиф, и Кэтрин, и Элен Грэм тоже стали знакомы миллионам зрителей во всем мире.

Обделенные многими радостями бытия, но познавшие счастье творчества, сестры Бронте умерли трагически рано. Тем не менее силой своего таланта и мужественной борьбой они завоевали право на долгую жизнь, а возможно, и бессмертие, в искусстве.

М. Тугушева

Джейн Эйр

Глава I

В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда (когда не было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз.

Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унижительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид.

Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива.

Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток.

– А что Бесси сказала? Что я сделала?

– Джейн, я не выношу придира и допросов; это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь и, пока не научишься быть вежливой, молчи.

Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали. Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф; я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира.

Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа; слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно стенавший.

Затем я снова начинала просматривать книгу – это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой – мыса Линденеса – до Нордкапа разбросано множество островов:

...Где ледяного океана ширь
Кипит у островов, нагих и диких,
На дальнем севере; и низвергает волны
Атлантика на мрачные Гебриды.

Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, «всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледелым Альпам; окружая полюс, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода». У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах, – правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.

Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища: одинокий могильный камень с надписью, ворота, два дерева, низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера.

Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками.

Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.

С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы.

Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса – такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из «Памелы» и «Генриха, герцога Морландского».

И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного – что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро.

Дверь в маленькую столовую отворилась.

– Эй, ты, нюня! – раздался голос Джона Рида; он замолчал: комната казалась пустой.

– Куда, к чертям, она запропастилась? – продолжал он. – Лиззи! Джорджи! – позвал он сестер. – Джоаны нет здесь. Скажите мамочке, что она убежала под дождик... Экая гадина!

«Хорошо, что я задернула занавесы», – подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто, впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но Элиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила:

– Она на подоконнике, ручаюсь, Джон.

Я тотчас вышла из своего угла; больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон.

– Что тебе нужно? – спросила я с плохо разыгранным смирением.

– Скажи: «Что вам угодно, мистер Рид?» – последовал ответ. – Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне, – и, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним.

Джону Риду исполнилось четырнадцать лет, он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет увалень с прыщевой кожей и нездоровым цветом лица; поражали его крупные нескладные черты и большие ноги

и руки. За столом он постоянно обедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой «по причине слабого здоровья». Мистер Майлс, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости, – пусть ему только поменьше присылают из дому пирожков и пряников; но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть, и тоске по родному дому.

Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а впрочем, чаще за ее спиной.

Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел; минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и, с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и пребольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два.

– Вот тебе за то, что ты надерзила маме, – сказал он, – и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас, ты, крыса!

Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор; я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым.

– Что ты делала за шторой? – спросил он.

– Я читала.

– Покажи книжку.

Я взяла с окна книгу и принесла ему.

– Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама. Я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги! Я здесь хозяин! Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей, подальше от окон и от зеркала.

Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях; но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро: толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам.

– Противный, злой мальчишка! – крикнула я. – Ты – как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты – как римский император!

Я прочла «Историю Рима» Голдсмита⁴ и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух.

– Что? Что? – закричал он. – Кого ты так называешь?.. Вы слышали, девочки? Я скажу маме! Но раньше...

⁴ Голдсмит, Оливер (1728–1774) – английский писатель, автор романа «Векфильдский священник».

Джон ринулся на меня; я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови, я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне сознавала, что делают мои руки, но он крикнул: «Крыса! Крыса!» – и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх; она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова:

– Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мастера Джона!

– Этакая злоба у девочки!

И наконец приговор миссис Рид:

– Уведите ее в красную комнату и запирайте там.

Четыре руки подхватили меня и понесли наверх.

Глава II

Я сопротивлялась изо всех сил, и эта неслыханная дерзость еще ухудшила и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы французы: я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своем отчаянии была готова на все.

– Держите ее за руки, мисс Эббот, она точно бешеная...

– Какой срам! Какой стыд! – кричала камеристка. – Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благотельницы! Ведь это же ваш молодой хозяин!

– Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?

– Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка! Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении.

Тем временем они втащили меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвилась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту.

– Если вы не будете сидеть смирно, вас придется привязать, – сказала Бесси. – Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки, мои она сейчас же разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с дебели ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшее меня новое бесчестие несколько охладили мой пыл.

– Не снимайте, я буду сидеть смирно! – воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу, на которой сидела.

– Ну, смотрите!... – сказала Бесси.

Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня; а затем обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво, словно сомневались в моем рассудке.

– С ней никогда еще этого не было, – произнесла наконец Бесси, обращаясь к мисс Эббот.

– Ну, это все равно сидело в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен.

Бесси не ответила; но немного спустя она сказала, обратясь ко мне:

– Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид: ведь она кормит вас; выгони она вас отсюда, вам пришлось бы идти в рабочий дом.

Мне нечего было возразить ей: мысль о моей зависимости была для меня не нова, – с тех пор как я помню себя, мне намекали на нее, укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эббот поспешно добавила:

– И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богатые, а у вас никогда ничего не будет. Поэтому вы должны смириться и угождать им.

– Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы, – добавила Бесси уже мягче. – Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой. Тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом; а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда.

– Кроме того, – добавила мисс Эббот, – Бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок, и что тогда будет с ней? Пойдем, Бесси, пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр, а если вы не раскаетесь, как бы кто не спустился по трубе и не утащил вас...

Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ.

Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, вернее – никогда, разве только наплыв гостей в Гейтсхэд-холле вынуждал хозяев вспомнить о ней; вместе с тем это была одна из самых больших и роскошных комнат дома. В центре, точно алтарь, высилась кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом; два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрекенами из той же материи, спускавшимися фестонами и пышными складками; ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном. Стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком; гардероб, туалетный стол и кресла – из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, застланной белоснежным пикейным покрывалом. Почти так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле у изголовья кровати, со скамеечкой для ног перед ним; это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым троном.

В комнате стоял промозглый холод, оттого что ее редко топили; в ней царило безмолвие, оттого что она была удалена от детской и кухни; в ней было жутко, оттого что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть с мебели и зеркал осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка, чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комод, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюра, изображавшая ее умершего мужа; в последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклęcia, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие.

С тех пор как умер мистер Рид, прошло девять лет; именно в этой комнате он испустил свой последний вздох; здесь он лежал мертвый; отсюда факельщики вынесли его гроб, – и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты.

Я все еще сидела на том месте, к которому меня как бы приковали Бесси и злючка мисс Эббот. Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина; передо мной высилась кровать; справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики; слева – занавешенные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда наконец решилась сдвинуться с места, встала и подошла к двери. Увы! Я была узницей, не хуже чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало мне темнее и холоднее, чем в действительности, а странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледное лицо и руки, белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом царстве, действительно напоминали призрак: что-то вроде тех крошечных духов, не то фэй, не то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником.

Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдавалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего.

Грубость и жестокость Джона Рида, надменное равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливость слуг – все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшийся со дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать, почему меня все презирают, не любят, кланут? Почему я не умею никому угодить и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которая упряма и эгоистична, или к Джорджиане, у которой отвратительный характер, капризный, раздражительный и заносчивый, все относятся снисходительно? Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золо-

тые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее, и за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит, его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыплят, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутоны самых редких цветов; он даже называет свою мать «старушкой», смеется над ее цветом лица – желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковые платья. И все-таки он ее «ненаглядный сыночек». Мне же не прощают ни малейшего промаха. Я стараюсь ни на шаг не отступать от своих обязанностей, а меня называют непослушной, упрямой и лгуньей, и так с утра и до ночи.

Голова у меня все еще болела от ушиба, из ранки сочилась кровь. Однако никто не упрекнул Джона за то, что он без причины ударил меня; а я, восставшая против него, чтобы избежать дальнейшего грубого насилия, – я вызвала всеобщее негодование.

«Ведь это же несправедливо, несправедливо!» – твердил мне мой разум с той недетской ясностью, которая рождается пережитыми испытаниями, а проснувшаяся энергия заставляла меня искать какого-нибудь способа избавиться от этого нестерпимого гнета: например, убежать из дома или, если бы это оказалось невозможным, никогда больше не пить и не есть, уморить себя голодом.

Как была ожесточена моя душа в этот тоскливый вечер! Как были взбудоражены мои мысли, как бунтовало сердце! И все же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя борьба! Ведь я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой.

Я совершенно не подходила к Гейтсхэд-холлу. Я была там как бельмо на глазу, у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными. Если они не любили меня, то ведь и я не любила их. С какой же стати они должны были относиться тепло к существу, которое не чувствовало симпатии ни к кому из них; к существу, так сказать, инородному для них, противоположному им по натуре и стремлениям; существу во всех смыслах бесполезному, от которого им нечего было ждать; существу зловредному, носившему в себе зачатки мятежа, восставшему против их обращения с ним, презиравшему их взгляды? Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, красивым и пылким ребенком – пусть даже одиноким и зависимым, – миссис Рид отнеслась бы к моему присутствию в своей семье гораздо снисходительнее; ее дети испытывали бы ко мне более товарищеские дружелюбные чувства; слуги не стремились бы вечно делать из меня козла отпущения.

В красной комнате начинало темнеть; был пятый час, и свет тусклого облачного дня переходил в печальные сумерки. Дождь все так же неустанно барабанил по стеклам окон на лестнице, и ветер шумел в аллее за домом. Постепенно я вся закоченела, и мужество стало покидать меня. Обычное чувство приниженности, неуверенности в себе, растерянности и уныния опустилось, как сырой туман, на уже перегоревшие угли моего гнева. Все уверяют, что я дурная... Может быть, так оно и есть; разве я сейчас не обдумывала, как уморить себя голодом? Ведь это же грех! А разве я готова к смерти? И разве склеп под плитами гейтсхэдской церкви уж такое привлекательное убежище? Мне говорили, что там похоронен мистер Рид... Это дало невольный толчок моим мыслям, и я начала думать о нем со все возрастающим ужасом. Я не помнила его, но знала, что он мой единственный родственник – брат моей матери, что, когда я осталась сиротой, он взял меня к себе и в свои последние минуты потребовал от миссис Рид обещания, что она будет растить и воспитывать меня как собственного ребенка. Миссис Рид, вероятно, считала, что сдержала свое обещание; она его и сдержала – в тех пределах, в каких ей позволяла ее натура. Но могла ли она действительно любить навязанную ей девочку, существо, совершенно чуждое ей и ее семье, ничем после смерти мужа с ней не связанное? Скорее миссис Рид тяготилась необходимостью соблюдать данное в такую минуту обещание: быть матерью чуждому ребенку, которого она не могла полюбить, с постоянным присутствием которого в семье не могла примириться.

Мною овладела странная мысль: я не сомневалась в том, что, будь мистер Рид жив, он относился бы ко мне хорошо. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестящее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля не выполнена и чей покой в могиле нарушен, иногда посещают землю, чтобы покарать виновных и отомстить за угнетенных; и мне пришло в голову: а что, если дух мистера Рида, терзаемый обидами, которые терпит дочь его сестры, вдруг покинет свою гробницу под сводами церковного склепа или неведомый мир усопших и явится мне в этой комнате? Я отерла слезы и постаралась сдержать свои всхлипывания, опасаясь, как бы в ответ на бурное проявление моего горя не зазвучал потусторонний голос, пожелавший утешить меня; как бы из сумрака не выступило озаренное фосфорическим блеском лицо, которое склонится надо мной с неземной кротостью. Появление этой тени, казалось бы столь утешительное, вызвало бы во мне – я это чувствовала – безграничный ужас. Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался; пока я смотрела, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч – вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилося, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев; я ощущала чье-то присутствие, что-то давило меня, я задыхалась; всякое самообладание покинуло меня. Я бросилась к двери и с отчаянием начала дергать ручку. По коридору раздались поспешные шаги; ключ в замке повернулся, вошли Бесси и Эббот.

– Мисс Эйр, вы заболели? – спросила Бесси.

– Какой ужасный шум! Я до смерти испугалась! – воскликнула Эббот.

– Возьмите меня отсюда! Пустите меня в детскую! – закричала я.

– Отчего? Разве вы ушиблись? Или вам что-нибудь привиделось? – снова спросила Бесси.

– О!.. Тут мелькнул какой-то свет, и мне показалось, что сейчас появится привидение! – Я вцепилась в руку Бесси, и она не вырвала ее у меня.

– Она нарочно подняла крик, – сказала Эббот презрительно, – и какой крик! Как будто ее режут. Верно, она просто хотела заманить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки!

– Что тут происходит? – властно спросил чей-то голос; по коридору шла миссис Рид, ленты на ее чепце развевались, платье угрожающе шуршало. – Эббот, Бесси! Я, кажется, приказала оставить Джейн Эйр в красной комнате, пока сама не придут за ней!

– Мисс Джейн так громко кричала, сударыня, – просительно сказала Бесси.

– Пустите ее, – был единственный ответ. – Не держись за руки Бесси, – обратилась она ко мне. – Этим способом ты ничего не добьешься, можешь быть уверена. Я ненавижу притворство, особенно в детях; мой долг доказать тебе, что подобными фокусами ты ничего не достигнешь. Теперь ты останешься здесь еще на лишний час, да и тогда я выпущу тебя только при условии полного послушания и спокойствия.

– О тетя! Сжальтесь! Простите! Я не могу выдержать этого... Накажите меня еще как-нибудь! Я умру, если...

– Молчи! Такая несдержанность отвратительна!

Я и в самом деле была ей отвратительна. Она считала меня уже сейчас опытной комедианткой; она искренне видела во мне существо, в котором неумеренные страсти сочетались с низостью души и опасной лживостью.

Тем временем Бесси и Эббот удалились, и миссис Рид, которой надоели и мой непреодолимый страх, и мои рыдания, решительно втолкнула меня обратно в красную комнату и без

дальнейших разговоров заперла там. Я слышала, как она быстро удалилась. А вскоре после этого со мной, видимо, случился припадок, и я потеряла сознание.

Глава III

Помню одно: очнулась я как после страшного кошмара; передо мною рдело жуткое багряное сияние, перечеркнутое широкими черными полосами. Я слышала голоса, но они едва доносились до меня, словно заглушаемые шумом ветра или воды; волнение, неизвестность и всепоглощающий страх как бы сковали все мои ощущения. Вскоре, однако, я почувствовала, как кто-то прикасается ко мне, приподнимает и поддерживает меня в сидячем положении, – так бережно еще никто ко мне не прикасался. Я прислонилась головой к подушке или к чьему-то плечу, и мне стало так хорошо...

Еще пять минут, и туман забвения окончательно рассеялся. Теперь я отлично понимала, что нахожусь в детской, в своей собственной кровати, и что зловещий блеск передо мной – всего-навсего яркий огонь в камине. Была ночь; на столе горела свеча; Бесси стояла в ногах кровати, держа таз, а рядом в кресле сидел, склонившись надо мной, какой-то господин.

Я испытала невыразимое облегчение, благотворное чувство покоя и безопасности, как только поняла, что в комнате находится посторонний человек, не принадлежащий ни к обитателям Гейтсхеда, ни к родственникам миссис Рид. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было мне гораздо менее неприятно, чем было бы, например, присутствие Эббот), я стала рассматривать лицо сидевшего возле кровати господина; я знала его, это был мистер Ллойд, аптекарь, которого миссис Рид вызывала, когда заболел кто-нибудь из слуг. Для себя и для своих детей она приглашала врача.

– Ну-ка, кто я? – спросил он.

Я назвала его и протянула ему руку; он взял ее, улыбаясь, и сказал:

– Ну, теперь мы будем понемножку поправляться.

Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, поручил ей особенно следить за тем, чтобы ночью меня никто не беспокоил. Дав ей еще несколько указаний и предупредив, что завтра опять зайдет, он удалился, к моему глубокому огорчению: я чувствовала себя в такой безопасности, так спокойно, пока он сидел возле моей кровати; но едва за ним закрылась дверь, как в комнате словно потемнело и сердце у меня упало, невыразимая печаль легла на него тяжелым камнем.

– Может быть, вы теперь заснете, мисс? – спросила Бесси с необычайной мягкостью.

Я едва осмелилась ей ответить, опасаясь, как бы за этими словами не последовали более грубые.

– Постараюсь.

– Может быть, вы хотите пить или скушаете что-нибудь?

– Нет, спасибо, Бесси.

– Тогда я, пожалуй, лягу, уже первый час; но вы меня кликните, если вам ночью что понадобится.

Какое небывалое внимание! Оно придало мне мужества, и я спросила:

– Бесси, что со мной случилось? Я больна?

– Вам стало плохо в красной комнате, наверно от плача; но теперь вы скоро поправитесь.

Затем Бесси ушла в каморку для горничных, находившуюся по соседству с детской. И я слышала, как она сказала:

– Сара, приходи ко мне спать в детскую; ни за что на свете я не останусь одна с бедной девочкой. А вдруг она умрет!.. Как странно, что с ней случился этот припадок... Хотела бы я знать, видела она что-нибудь или нет? Все-таки барыня была на этот раз чересчур строга к ней.

Она вернулась вместе с Сарой; они легли, но по крайней мере с полчаса еще шептались, прежде чем заснуть. Я уловила обрывки их разговора, из которых слишком хорошо поняла, о чем шла речь:

– Что-то в белом пронеслось мимо нее и исчезло... А за ним – громадная черная собака... Три громких удара в дверь... На кладбище горел свет, как раз над его могилой... – и так далее.

Наконец обе они заснули; свеча и камин погасли. Для меня часы этой бесконечной ночи проходили в томительной бессоннице. Ужас держал в одинаковом напряжении мой слух, зрение и мысль, – ужас, который ведом только детям.

Происшествие в красной комнате прошло для меня сравнительно благополучно, не вызвав никакой серьезной или продолжительной болезни, оно сопровождалось лишь потрясением нервной системы, следы которого остались до сих пор. Да, миссис Рид, сколькими душевными муками я обязана вам! Но мой долг простить вас, ибо вы не ведали, что творили: терзая все струны моего сердца, вы воображали, что только искореняете мои дурные наклонности.

На другой день, около полудня, я встала с постели, оделась и, закутанная в теплый плащ, села у камина, чувствуя страшную слабость и разбитость, но гораздо мучительнее была невыразимая сердечная тоска, непрерывно вызывавшая на мои глаза тихие слезы; не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как ее нагоняла другая. Мои слезы лились, хотя я должна была бы чувствовать себя счастливой, ибо никого из Ридов не было дома. Все они уехали кататься в коляске со своей мамой. Эббот тоже не показывалась – она шила в соседней комнате, и только Бесси ходила туда и сюда, расставляла игрушки и прибирала в ящиках комода, время от времени обращаясь ко мне с непривычно ласковыми словами. Все это должно было бы казаться мне сущим раем, ведь я привыкла жить под угрозой вечных выговоров и понуканий. Однако мои нервы были сейчас в таком расстройстве, что никакая тишина не могла их успокоить, никакие удовольствия не могли приятно возбудить.

Бесси спустилась в кухню и принесла мне сладкий пирожок, он лежал на ярко расписанной фарфоровой тарелке с райской птицей в венке из незабудок и полураспустившихся роз; эта тарелка обычно вызывала во мне восхищение, я не раз просила, чтобы мне позволили подержать ее в руках и рассмотреть подробнее, но до сих пор меня не удостоивали такой милости. И вот драгоценная тарелка очутилась у меня на коленях, и Бесси ласково уговаривала меня скушать лежавшее на ней лакомство. Тщетное великодушие! Оно пришло слишком поздно, как и многие дары, которых мы жаждем и в которых нам долго отказывают! Есть пирожок я не стала, а яркое оперение птицы и окраска цветов показались мне странно поблекшими; я отодвинула от себя тарелку. Бесси спросила, не дать ли мне какую-нибудь книжку. Слово «книга» вызвало во мне мимолетное оживление, и я попросила принести из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала вновь и вновь с восхищением. Я была уверена, что там рассказывается о действительных происшествиях, и это повествование вызвало во мне более глубокий интерес, чем обычные волшебные сказки. Убедившись в том, что ни под листьями наперстянки и колокольчиков, ни под шляпками грибов, ни в тени старых, обвитых плющом ветхих стен мне эльфов не найти, я пришла к печальному выводу, что все они перекочевали из Англии в какую-нибудь дикую, неведомую страну, где кругом только густой девственный лес и где почти нет людей, – тогда как лилипуты и великаны действительно живут на земле; и я нисколько не сомневалась, что некогда мне удастся совершить дальнейшее путешествие и я увижу собственными глазами миниатюрные пашни, долины и деревья, крошечных человечков, коров, овец и птиц одного из этих царств, а также высокие, как лес, колосья, гигантских догов, чудовищных кошек и подобных башням мужчин и женщин другого царства. Но когда я теперь держала в руках любимую книгу и, перелистывая страницу за страницей, искала в ее удивительных картинках того очарования, которое раньше неизменно в них находила, – все казалось мне пугающе-мрачным. Великаны представлялись долговязыми чудищами, лилипуты – злыми и безобразными гномами, а сам Гулливер – унылым странником в неведомых и диких краях.

Я захлопнула книгу, не решаясь читать дальше, и положила ее на стол рядом с нетронутым пирожком.

Бесси кончила вытирать пыль и прибирать комнату, вымыла руки и, открыв в комод ящичек, полный красивых шелковых и атласных лоскутков, принялась мастерить новую шляпку для куклы Джорджианы. При этом она запела:

В те дни, когда мы бродили
С тобою, давным-давно...

Я часто слышала и раньше эту песню, и всегда она доставляла мне живейшее удовольствие; у Бесси был очень приятный голос – или так, по крайней мере, мне казалось. Но сейчас, хотя ее голос звучал так же приятно, мне чудилось в этой мелодии что-то невыразимо печальное. Временами, поглощенная своей работой, она повторяла припев очень тихо, очень протяжно, и слова «давным-давно» звучали как заключительные слова погребального хора. Потом она запела другую песню, еще более печальную:

Стерты до крови ноги, и плечи изныли,
Долго шла я одна среди скал и болот.
Белый месяц не светит, темно, как в могиле,
На тропинке, где ночью сиротка бредет.
Ах, зачем в эту даль меня люди послали,
Где седые утесы, где тяжело идти!
Люди злы, и лишь ангелы в кроткой печали
Сироту берегут в одиноком пути.
Тихо веет в лицо мне ночная прохлада,
Нет ни облачка в небе, в звездах небосвод.
Милосердие Бога – мой щит и ограда,
Он надежду сиротке в пути подает.
Если в глушь заведет огонек на трясине
Или вдруг оступлюсь я на ветхом мосту, —
И тогда мой Отец сироты не покинет,
На груди у себя приютит сироту⁵.

– Перестаньте, мисс Джейн, не плачьте, – сказала Бесси, допев песню до конца. Она с таким же успехом могла бы сказать огню «не гори», но разве могла она догадаться о том, какие страдания терзали мое сердце?

В то утро опять зашел мистер Ллойд.

– Уже встала? – воскликнул он, входя в детскую. – Ну, няня, как она себя чувствует?

Бесси ответила, что очень хорошо.

– Тогда ей следовало бы быть повеселее. Подите-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн? Верно?

– Да, сэр, Джейн Эйр.

– Я вижу, что вы плакали, мисс Джейн Эйр. Не скажете ли вы мне – отчего? У вас что-нибудь болит?

– Нет, сэр.

– Она, верно, плакала оттого, что не могла поехать кататься с миссис Рид, – вмешалась Бесси.

⁵ Перевод Т. Казмичевой.

– Ну уж нет! Она слишком большая для таких глупостей.

Я была того же мнения, и так как это несправедливое обвинение задело мою гордость, с живостью ответила:

– Я за всю мою жизнь ни разу еще не плакала о таких глупостях. Я терпеть не могу кататься! А плачу оттого, что я несчастна.

– Фу, какой стыд! – сказала Бесси.

Добрый аптекарь был, видимо, озадачен. Я стояла перед ним; он пристально смотрел на меня. У него были маленькие серые глазки, не очень блестящие, но я думаю, что теперь они показались бы мне весьма пронизательными; лицо у него было грубоватое, но добродушное. Он долго и обстоятельно рассматривал меня, затем сказал:

– Отчего ты вчера заболела?

– Она упала, – снова поспешила вмешаться Бесси.

– Упала! Ну вот, опять точно маленькая! Разве такие большие девочки падают? Ей ведь, должно быть, лет восемь или девять?

– Меня нарочно сшибли с ног, – резко сказала я, снова поддавшись чувству оскорбленной гордости, – но я не от этого заболела, – добавила я.

Мистер Ллойд взял понюшку табаку. Когда он снова стал засовывать в карман пиджака свою табакерку, громко зазвонил колокол, сзывающий слуг обедать; аптекарю было известно значение этого звона.

– Няня, это вас зовут, – сказал он, – можете идти вниз. А я тут сделаю мисс Джейн маленькое наставление, пока вы вернетесь.

Бесси охотно осталась бы, но ей пришлось уйти, так как слуги в Гейтсхэд-холле должны были точнейшим образом соблюдать время обеда и ужина.

– Значит, ты заболела не оттого, что упала? Так отчего же? – продолжал мистер Ллойд, когда Бесси ушла.

– Меня заперли в комнате, где живет привидение, а было уже темно.

Мистер Ллойд улыбнулся и вместе с тем нахмурился.

– Что? Привидение? Ну, ты, видно, еще совсем ребенок! Ты боишься привидений?

– Да, привидения мистера Рида я боюсь; он ведь умер в той комнате и там лежал... Ни Бесси и никто другой не войдут туда ночью без надобности. И это было жестоко – запереть меня там одну, в темноте! Так жестоко, что я этого, наверно, никогда не забуду.

– Глупости! И ты поэтому так огорчаешься? Разве ты и днем боишься?

– Нет, но ведь скоро опять наступит ночь. И потом, я несчастна, очень несчастна, еще и по другим причинам.

– По каким же? Ты не можешь сказать мне хотя бы некоторые?

Как хотелось мне ответить на этот вопрос возможно полнее и откровеннее! Но мне трудно было найти подходящие слова, – дети способны испытывать сильные чувства, но не способны разбираться в них. А если даже частично и разбираются, то не умеют рассказать об этом. Однако я слишком боялась упустить этот первый и единственный случай облегчить свою печаль, поделившись ею, и после смущенного молчания наконец выдавила из себя пусть и неполный, но правдивый ответ:

– Во-первых, у меня нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.

– Но у тебя есть добрая тетя, кузен и кузины.

Снова последовало молчание; затем я уже совсем по-ребячьи выпалила:

– Но ведь это Джон Рид швырнул меня на пол, а тетя заперла меня в красной комнате!

Мистер Ллойд снова извлек свою табакерку.

– Разве тебе не нравится в Гейтсхэд-холле? – спросил он. – Разве ты не благодарна, что живешь в таком прекрасном доме?

– Это не мой родной дом, сэр, а Эббот говорит, что у прислуги больше прав жить здесь, чем у меня.

– Эх ты, дурочка! Неужели ты так глупа, что хотела бы уехать из такой великолепной усадьбы?

– Если бы было куда, я бы с радостью убежала отсюда, но мне ни за что не уехать из Гейтсхэда, пока я не стану совсем взрослой.

– А может быть, и придется – кто знает! У тебя нет никакой родни, кроме миссис Рид?

– По-моему, нет, сэр.

– А со стороны отца?

– Не знаю. Я как-то спросила тетю Рид, и она сказала, что, может быть, у меня есть какие-нибудь бедные родственники по фамилии Эйр, но ей ничего о них не известно.

– А если бы такие оказались, ты бы хотела жить у них?

Я задумалась: бедность пугает даже взрослых – тем более страшит она детей. Они не могут представить себе бедность трудовую, деятельную и честную; это слово вызывает в них лишь представление о лохмотьях, о скудной пище и потухшем очаге, о грубости и низких пороках; в моем представлении бедность была равна унижению.

– Нет, мне бы не хотелось жить у бедных, – ответила я.

– Даже если бы они были добры к тебе?

Я покачала головой. Я не могла понять, откуда у бедных возьмется доброта; и потом – усвоить их жаргон, перенять манеры, стать невоспитанной – словом, похожей на тех женщин, которых я часто видела возле их хибарок в деревне, когда они нянчили ребят или стирали белье, – нет, я была не способна на подобный героизм, чтобы купить свободу такой дорогой ценой.

– Но разве твои родственники так уж бедны? Они рабочие?

– Этого я не знаю. Тетя Рид говорит, что если у меня есть родственники, то, наверное, какие-нибудь попрошайки; а я не могу просить милостыню.

– А тебе хотелось бы поступить в школу?

Я снова задумалась; едва ли у меня было ясное представление о том, что такое школа. Бесси иногда говорила, что это такое место, где молодых барышень муштруют и где от них требуют особенно хороших манер и воспитанности. Джон Рид ненавидел школу и бранил своего учителя; но вкусы Джона Рида не были для меня законом, и если сведения Бесси о школьной дисциплине (она почерпнула их у молодых барышень, в семье которых жила до поступления в Гейтсхэд) несколько отпугивали меня, то ее рассказы о различных познаниях, приобретенных там теми же молодыми особами, казались мне, с другой стороны, весьма заманчивыми. Она восхищалась тем, как хорошо они рисовали всякие красивые пейзажи и цветы, как пели и играли на фортепиано, какие прелестные кошельки они вязали и как бойко читали французские книжки. Под влиянием ее рассказов во мне пробуждался дух соревнования. Кроме того, школа означала коренную перемену: с ней было связано далекое путешествие, полный разрыв с Гейтсхэдом, переход к новой жизни.

– В школу мне действительно хотелось бы поступить, – сказала я вслух.

– Ну, ну, кто знает, что может случиться, – сказал мистер Ллойд, вставая. – Девочке нужна перемена воздуха и места, – добавил он, обращаясь к самому себе, – нервы никуда не годятся.

Бесси вернулась; и в ту же минуту до нас донесся шум подъезжающего экипажа.

– Ваша барыня приехала, няня? – спросил мистер Ллойд. – Я хотел бы поговорить с ней перед уходом.

Бесси предложила ему пройти в маленькую столовую и показала дорогу. На основании того, что последовало затем, я заключаю, что аптекарь отважился посоветовать миссис Рид отправить меня в школу; и этот совет был, без сомнения, принят очень охотно, ибо когда я

в один из ближайших вечеров лежала в постели, а Бесси и Эббот сидели тут же в детской и шили, Эббот, полагая, что я уже сплю, сказала Бесси, с которой они обсуждали этот вопрос:

– Миссис Рид, наверно, рада-радешенька отделаться от этой несносной, противной девочки. И в самом деле, у нее вечно такой вид, точно она за всеми подсматривает и что-то замышляет.

Очевидно, Эббот действительно считала меня чем-то вроде маленького Гая Фокса⁶.

Тут же я впервые узнала из уст мисс Эббот, сообщившей об этом Бесси, что мой отец был бедным пастором; что мать моя вышла за него против воли родителей, считавших этот брак мезальянсом, и мой дедушка Рид настолько разгневался, что не завещал ей ни гроша; что через год после свадьбы отец заболел тифом, заразившись при посещении им бедняков в большом фабричном городе, где находился его приход; что моя мать, в свою очередь, заразилась от него и через месяц после его кончины последовала за ним в могилу.

Бесси, услышав этот рассказ, вздохнула и заметила:

– А ведь мисс Джейн тоже пожалеть надо, Эббот.

– Конечно, – ответила Эббот, – будь она милой, красивой девочкой, ее можно было бы и пожалеть за то, что у ней никого нет на белом свете. Но кто станет жалеть такую противную маленькую жабу!

– Верно, немногие, – согласилась и Бесси. – Понятно, что красавица вроде мисс Джорджианы, попади она в такое же положение, гораздо больше располагала бы к себе.

– Да, да, я обожаю мисс Джорджиану! – воскликнула восторженная Эббот. – Душка! Такие длинные кудри и голубые глаза, такой прелестный румянец – будто накрашилась... А знаете, Бесси, я с удовольствием съела бы на ужин гренки с сыром.

– Я тоже, и с поджаренным луком. Пойдем-ка вниз.

И они ушли.

⁶ *Гай Фокс* (1570–1605) – английский офицер, один из обвиняемых по делу о Пороховом заговоре, представлявшем попытку католической партии взорвать английский парламент.

Глава IV

Из разговора с мистером Ллойдом и только что пересказанной беседы между Эббот и Бесси я почерпнула новую надежду; этого было достаточно, чтобы мне захотелось выздороветь; казалось, близится какая-то перемена; я хотела ее и молча выжидала. Однако дело затянулось; проходили дни и месяцы. Мое здоровье восстановилось, но я больше не слышала ни одного намека на то, что меня так занимало. Миссис Рид по временам окидывала меня суровым взглядом, но лишь изредка обращалась ко мне. Со времени моей болезни она еще решительнее провела границу между мной и собственными детьми: мне была отведена отдельная каморка, где я спала одна, обедала и завтракала я тоже в одиночестве и весь день проводила в детской, тогда как ее дети постоянно торчали в гостиной. Миссис Рид ни разу не обмолвилась ни единым словом относительно моего поступления в школу, и все-таки я была уверена, что она не станет долго терпеть меня под своей крышей: когда на меня падал ее взгляд, он больше, чем когда-либо, выражал глубокое и непреодолимое отвращение.

Элиза и Джорджиана, следуя полученному приказанию, старались разговаривать со мной как можно меньше; Джон, едва заведя меня, показывал мне язык и однажды сделал попытку снова помучить меня; но так как я мгновенно накинулась на него, охваченная тем же чувством неудержимого гнева и негодования, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он счел за лучшее отступить и убежал, бормоча проклятия и крича, что я разбила ему нос. Я действительно ударила Джона кулаком по этой выступающей части лица со всей силой, на какую только была способна, и когда увидела, что этот удар, а может быть, мой взбешенный вид, произвел на него впечатление, – почувствовала сильнейшее желание воспользоваться и дальше достигнутым преимуществом; но он удрал под крылышко своей матери, и я услышала, как он плаксиво сочиняет ей какую-то историю относительно того, что эта гадкая Джейн Эйр набросилась на него, точно бешеная кошка. Мать строго прервала его:

– Не говори мне о ней, Джон; я запретила тебе связываться с ней. Она не заслуживает внимания. Я не хочу, чтобы ты или твои сестры разговаривали с этой девчонкой.

Но тут я, перегнувшись через перила лестницы, вдруг неожиданно для себя крикнула:

– Это они недостойны разговаривать со мной!

Миссис Рид была женщиной довольно тучной, но, услышав это странное и дерзкое заявление, она вихрем взлетела по лестнице, втащила меня в детскую и, швырнув меня на кровать, весьма решительно приказала мне весь день не сходить с места и не раскрывать рта.

– А что бы сказал дядя Рид, если бы он был жив! – вырвалось у меня почти невольно. Во мне заговорило что-то, над чем я не имела власти.

– Что? – беззвучно прошептала миссис Рид, и в ее обычно столь холодных и спокойных серых глазах появился даже какой-то страх.

Она выпустила мое плечо и уставилась на меня, словно вопрошая, кто перед ней – ребенок или дьявол? Тогда я осмелела:

– Мой дядя Рид на небе, он видит все и знает, что вы думаете и делаете; и папа и мама – тоже: они знают, что вы меня запираете на целые дни и хотите моей смерти.

Миссис Рид быстро овладела собой; она изо всех сил принялась меня трясти, затем надала пощечин и ушла, не промолвив ни слова. Это упущение навестила Бесси, – она в течение целого часа отчитывала меня, доказывая с полной очевидностью, что я самое злое и неблагодарное дитя, какое когда-либо росло под чьей-нибудь крышей. Я готова была поверить ей, ибо понимала сама, что в моей груди бушуют только злые чувства.

Миновали ноябрь, декабрь, а также половина января. В Гейтсхэде, как всегда, весело отпраздновали Рождество и Новый год; на всех щедро сыпались подарки, миссис Рид давала обеды и вечера. Я была, разумеется, лишена всех этих развлечений: мое участие в них ограни-

чивалось тем, что я ежедневно наблюдала, как наряжались Элиза и Джорджиана и как они затем отправлялись в гостиную, разодетые в кисейные платья с пунцовыми кушаками, распустив по плечам тщательно завитые локоны, а затем прислушивалась к звукам рояля и арфы, доносившимся снизу, к беготне буфетчика и слуг, подававших угощение, к звону хрусталя и фарфора, к гулу голосов, вырывавшемуся из гостиной, когда открывались и закрывались двери. Устав от этого занятия, я покидала площадку лестницы и возвращалась в тихую и пустую детскую. Там мне хоть и бывало грустно, но я не чувствовала себя несчастной.

Говоря по правде, у меня не было ни малейшего желания очутиться среди гостей, так как эти гости редко обращали на меня внимание; и будь Бесси хоть немного приветливее и общительнее, я бы предпочла спокойно проводить вечера с нею, вместо того чтобы непрерывно находиться под грозным оком миссис Рид в комнате, полной незнакомых дам и мужчин. Но Бесси, одев своих барышень, обычно удалялась в более оживленную часть дома – в кухню или в комнату экономки – и прихватывала с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях до тех пор, пока не угасал огонь в камине, и испуганно озиралась, так как мне чудилось, что в полутемной комнате находится какой-то страшный призрак; и когда в камине оставалась только кучка рдеющей золы, я торопливо раздевалась, дергая изо всех сил шнурки и тесемки, и искала защиты от холода и мрака в своей кровати. Я всегда клала с собой куклу: каждое человеческое существо должно что-нибудь любить, и, за неимением более достойных предметов для этого чувства, я находила радость в привязанности к облезлой, дешевой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало. Теперь мне уже непонятна та нелепая нежность, которую я питала к этой игрушке, видя в ней чуть ли не живое существо, способное на человеческие чувства. Я не могла уснуть, не завернув ее в широкие складки моей ночной сорочки; и когда она лежала рядом со мной, в тепле и под моей защитой, я была почти счастлива, считая, что должна быть счастлива и она.

Какими долгими казались мне часы, когда я ожидала разъезда гостей и шагов Бесси в коридоре; иногда она забегала в течение вечера – взять наперсток или ножницы или принести мне что-нибудь на ужин – булочку, пирожок с сыром, – и тогда она усаживалась на краю постели, пока я ела, а затем подтыкала под матрац края одеяла, а два раза даже поцеловала меня, говоря: «Спокойной ночи, мисс Джейн». Когда Бесси была так кротко настроена, она казалась мне лучшим, красивейшим и добрейшим созданием на свете; и я страстно желала, чтобы она всегда была приветливой и внимательной и никогда бы не толкала меня, не дразнила, не обвиняла в том, в чем я была неповинна, как это с ней часто случалось. Теперь мне кажется, что Бесси Ли была очень одарена от природы: она делала все живо и ловко и к тому же обладала замечательным талантом рассказывать сказки, которые производили на меня огромное впечатление. Она была прехорошенькой, – если мои воспоминания о ее лице и фигуре не обманывают меня. В моей памяти встает стройная молодая женщина, черноволосая и темноглазая, с правильными чертами, со свежим, здоровым румянцем; но вся беда в том, что у нее был резкий и неуравновешенный характер и весьма смутные представления о беспристрастии и справедливости; но даже и такой я предпочитала ее всем остальным обитателям Гейтсхед-холла.

Это произошло пятнадцатого января, около девяти часов утра. Бесси ушла вниз завтракать; моих кузин еще не позвали к столу. Элиза надевала шляпку и старое теплое пальто, собираясь идти кормить своих кур, – занятие, доставлявшее ей большое удовольствие. Когда они неслись, она с не меньшим удовольствием продавала яйца экономке и копила вырученные деньги. Элиза была страшная скареда и прирожденная коммерсанта. Это сказывалось не только в том, что она продавала яйца и цыплят, но и в том, как она торговалась с садовником из-за рассады и семян, – ибо миссис Рид приказала ему покупать у этой юной леди все, что произрастало на ее грядках и что она пожелала бы продать. Элиза же ничего бы не пожалела, лишь бы это сулило ей прибыль. Что касается денег, то она прятала их по всем углам, завертывая

в тряпочки или бумажки; но когда часть ее сокровищ была случайно обнаружена горничной, Элиза, боясь, что пропадет все ее достояние, согласилась отдавать их на хранение матери, но притом, как настоящий ростовщик, – из пятидесяти-шестидесяти процентов. Эти проценты она взимала каждые три месяца и аккуратно заносила свои расчеты в особую тетрадку.

Джорджиана сидела перед зеркалом на высоком стуле и причесывалась, вплетая в свои кудри искусственные цветы и сломанные перья, – она нашла на чердаке полный ящик этих украшений. Я убирала свою постель, так как Бесси строжайше приказала мне сделать это до ее возвращения (она теперь нередко пользовалась мной как второй горничной: поручала мести пол, стирать пыль со стульев и тому подобное). Накрыв постель одеялом и сложив ночную сорочку, я подошла к подоконнику, чтобы прибрать разбросанные на нем книжки с картинками и кукольную мебель, но краткое приказание Джорджианы оставить в покое ее игрушки (ибо крошечные стульчики и зеркальце, очаровательные тарелочки и чашечки принадлежали именно ей) остановило меня; и тогда от нечего делать я стала дышать на морозные цветы, которыми было разукрашено окно, и, очистив таким образом маленькое местечко, заглянула в скованный суровым морозом сад, где все казалось недвижимым и мертвым.

Из окна был виден домик привратника и усыпанная гравием дорога; и как раз тогда, когда мне удалось расчистить достаточно широкий кружок среди затянувшей стекло серебристо-белой листвы, ворота распахнулись и во двор въехал экипаж. Я равнодушно следила за тем, как он приближался к подъезду: в Гейтсхэд часто приезжали экипажи, но ни один не привозил гостей, которые представляли бы интерес для меня. Экипаж остановился перед домом, раздался резкий звук колокольчика, гостя впустили. Все это меня совершенно не касалось, и мое праздное внимание вскоре было привлечено голодным снегирем, который, чирикавая, уселся на ветку голой шпалерной вишни у самой стены дома, неподалеку от окна. Остатки моего завтрака, состоявшие из хлеба и молока, еще были на столе, и, раскрошив булку, я принялась дергать форточку, чтобы высыпать крошки на карниз; но тут в детскую вбежала Бесси.

– Мисс Джейн, скорей снимайте передник! Что это вы делаете? Мыли вы руки и лицо сегодня?

Прежде чем ответить, я принялась дергать оконную раму, так как мне хотелось обеспечить птичке ее завтрак; наконец рама поддалась, я высыпала крошки – они упали частью на каменный карниз, частью на вишневую ветку – и, закрыв окно, ответила:

– Нет, Бесси, я только что кончила обметать пыль.

– Несносная девчонка! Неряха! А что вы сейчас делали? Зачем открывали окно?

Однако ответить мне не пришлось, ибо Бесси, видимо, слишком торопилась и, не слушая моих объяснений, потащила меня к умывальнику, беспощадно, хотя, к счастью, быстро, обработала мое лицо и руки водой, мылом и жестким полотенцем, пригладила волосы щеткой, сорвала с меня передник, вытолкала на площадку лестницы и приказала сойти вниз, так как меня ждут в столовой.

Мне очень хотелось спросить, кто ждет меня и там ли миссис Рид, но Бесси уже исчезла, захлопнув дверь. Я стала медленно спускаться. Вот уже почти три месяца, как миссис Рид не приглашала меня вниз; моя жизнь протекала только в детской, поэтому столовая, зал и гостиная сделались для меня недостижимыми, и я не решалась в них вступить.

И вот я очутилась одна в пустом холле; я стояла перед дверью в гостиную, дрожа и робея. Какую жалкую трусишку сделал из меня в те дни страх перед незаслуженным наказанием! Я и в детскую боялась вернуться, и в гостиную не решалась войти; минут десять простояла я так, терзаясь сомнениями; резкий звонок к завтраку заставил меня решиться.

«Кто это мог вызвать меня, – недоумевала я, нажимая обеими руками на тугую ручку двери, не поддававшуюся моим усилиям. – Кого я сейчас увижу, кроме тети Рид? Мужчину или женщину?» Ручка наконец повернулась, дверь открылась, я вошла, низко присела и, подняв глаза, увидела черный столб: по крайней мере такое впечатление на меня произвела в

первую минуту узкая, одетая в черное, прямая, как палка, фигура, стоявшая на ковре перед камином; угрюмое лицо напоминало высеченную из камня маску; она венчала эту колонну подобно капители.

Миссис Рид сидела на своем обычном месте у камина; она сделала мне знак. Я подошла, и она представила меня каменному незнакомцу, сказав:

– Вот девочка, по поводу которой я обратилась к вам.

Он – ибо это был мужчина – медленно повернул голову в мою сторону, его серые глаза, поблескивавшие из-под щетинистых бровей, вонзились в меня, и он строго сказал густым басом:

– Ростом она мала; сколько же ей лет?

– Десять лет.

– Так много? – недоверчиво отозвался он и продолжал еще несколько мгновений рассматривать меня, затем спросил: – Как тебя зовут, девочка?

– Джейн Эйр, сэр.

Пробормотав эти слова, я посмотрела на незнакомца; он показался мне очень высоким, – но ведь я сама была очень мала; черты лица у него были крупные и, так же как весь его облик, суровые и резкие.

– Ну, Джейн Эйр, ты хорошая девочка?

Невозможно было ответить на этот вопрос утвердительно: все в маленьком мирке, в котором я жила, были обратного мнения. Я молчала. Миссис Рид ответила за меня выразительным покачиванием головы и добавила:

– Может быть, чем меньше об этом говорить, мистер Брокльхерст, тем лучше...

– Очень жаль. В таком случае нам с ней придется побеседовать. – Фигура его сломилась под прямым углом, он сел в кресло против миссис Рид.

– Поди сюда, – сказал он.

Я ступила на ковер перед камином; мистер Брокльхерст поставил меня прямо перед собой. Что за лицо у него было! Теперь, когда оно находилось почти на одном уровне с моим, я хорошо видела его. Какой огромный нос! Какой рот! Какие длинные, торчащие вперед зубы!

– Нет более прискорбного зрелища, чем непослушное дитя, – особенно непослушная девочка. А ты знаешь, куда пойдут грешники после смерти?

– Они пойдут в ад, – последовал мой быстрый, давно затверженный ответ.

– А что такое ад? Ты можешь объяснить мне?

– Это яма, полная огня.

– А ты разве хотела бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней?

– Нет, сэр.

– А что ты должна делать, чтобы избежать этого?

Ответ последовал не сразу; когда же он наконец прозвучал, против него можно было, конечно, возразить очень многое.

– Я лучше постараюсь быть здоровою и не умереть.

– А как можно стараться не умереть? Дети моложе тебя умирают ежедневно. Всего два-три дня назад я похоронил девочку пяти лет, хорошую девочку; ее душа теперь на небе. Боюсь, что этого нельзя будет сказать про тебя, если Господь тебя призвет.

Не смея возражать ему, я уставилась на его огромные ноги, протянутые на ковре, и вздохнула, – мне хотелось бежать от него за тридевять земель.

– Я надеюсь, это вздох из глубины сердца и ты раскаиваешься, что была источником стольких неприятностей для твоей дорогой благодетельницы?

«Благодетельница! Благодетельница! – повторяла я про себя. – Все называют миссис Рид моей благодетельницей. Если так, то благодетельница – это что-то очень нехорошее».

– Ты молишься утром и вечером? – продолжал допрашивать меня мой мучитель.

– Да, сэр.

– Читаешь ты Библию?

– Иногда.

– С радостью? Ты любишь Библию?

– Я люблю Откровение, и книгу пророка Даниила, книгу Бытия, и книгу пророка Самуила, и про Иова, и про Иону...

– А псалмы? Я надеюсь, их ты любишь?

– Нет, сэр.

– Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебя, но выучил наизусть шесть псалмов; и когда спросишь его, что он предпочитает – скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает: «Ну конечно, стих из псалма! Ведь псалмы поют ангелы! А я хочу уже здесь, на земле, быть маленьким ангелом». Тогда он получает два пряника за свое благочестие.

– Псалмы не интересные, – заметила я.

– Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить Бога, чтобы он изменил его, дал тебе новое, чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое.

Я только что собралась спросить, каким образом может быть произведена эта операция, когда миссис Рид прервала меня, приказав сесть, и уже сама продолжала беседу:

– Мне кажется, мистер Брокльхерст, в письме, которое я написала вам три недели назад, я подчеркнула, что эта девочка обладает не совсем теми чертами характера и наклонностями, которых я могла бы желать. И если вы примете ее в Ловудскую школу, я бы очень просила вас, пусть директриса и наставницы как можно строже следят за нею и борются с ее главным грехом – наклонностью к притворству и лжи. Я нарочно говорю об этом при тебе, Джейн, чтобы ты не вздумала вводить в заблуждение мистера Брокльхерста.

Недаром я боялась, недаром ненавидела миссис Рид! В ней жила постоянная потребность задевать мою гордость как можно чувствительнее! Никогда я не была счастлива в ее присутствии, – с какой бы точностью я ни выполняла ее приказания, как бы ни стремилась угодить ей, она отвергала все мои усилия и отвечала на них заявлениями, вроде только что ею сделанного. И сейчас это обвинение, брошенное мне в лицо перед посторонним, ранило меня до глубины души. Я смутно догадывалась, что она заранее хочет лишить меня и проблеска надежды, отравить и ту новую жизнь, которую она мне готовила; я ощущала, хотя, быть может, и не могла бы выразить это словами, что она сеет неприязнь и недоверие ко мне и на моей будущей жизненной тропе; я видела, что мистер Брокльхерст уже считает меня лживым, упрямым ребенком. Но как я могла бороться против этой несправедливости?!

«Конечно, никак», – решила я, стараясь сдержать невольное рыдание и поспешно отирая несколько слезинок, говоривших о моем бессильном горе.

– Притворство – поистине весьма прискорбная черта в ребенке, – заявил мистер Брокльхерст. – Оно сродни лживости, а все лжецы будут ввергнуты в озеро, горящее пламенем и серой. Во всяком случае, миссис Рид, за ней установят надзор. Я поговорю с мисс Темпл и с наставницами.

– Я хотела бы, чтобы она была воспитана в соответствии со своим будущим положением, – продолжала моя благодетельница. – Пусть научится смиряться и быть полезной. Что касается каникул, то она, с вашего позволения, будет проводить их в Ловуде.

– Ваши решения, сударыня, в высшей степени разумны, – отозвался мистер Брокльхерст. – Смирение – это высшая христианская добродетель, она как нельзя лучше пристала воспитанницам Ловуда; поэтому я требую, чтобы ее развитию в детях уделялось особое внимание; я специально изучал вопрос, как успешнее смирять в них суетное чувство гордости, и совсем на днях мне пришлось получить приятное подтверждение достигнутых мною успехов: моя вторая дочь Августа посетила со своей мамой школу и, вернувшись домой, воскликнула:

«Папочка, какие все девочки в Ловуде простые и смирные – волосы зачесаны за уши, фартуки длинные-предлинные; а эти холщовые сумки поверх платья... совсем как дети бедняков. Они смотрели на нас с мамой во все глаза, – добавила моя дочка, – будто никогда не видели шелковых платьев».

– Мне очень приятно это слышать, – отозвалась миссис Рид. – Обыщи я всю Англию, я едва ли нашла бы более подходящую систему воспитания для такой девочки, как Джейн Эйр. Строгость, мой дорогой мистер Брокльхерст, – я стою за строгость решительно во всем!

– Непокосимая строгость, сударыня, первая обязанность христианина. Что касается Ловуда, этому принципу подчинено все: неприхотливая пища, скромная одежда, строгий распорядок дня, закаляющий характер и приучающий к трудолюбию, – таков строй жизни этого дома и его обитателей.

– И это совершенно правильно, сэр. Значит, я могу быть спокойна, что девочку примут в Ловуд и там воспитают в соответствии с ее положением и видами на будущее?

– Конечно, сударыня! Мы поместим ее в этот вертоград избранных душ. И я надеюсь, что она будет благодарна за столь высокую привилегию.

– Итак, я пришлю ее возможно скорее, мистер Брокльхерст, потому что, уверяю вас, я жажду освободиться от ответственности, которая стала для меня в конце концов слишком обременительной.

– Конечно, конечно, сударыня! А теперь пожелаю вам доброго здоровья. Я возвращусь в Брокльхерст в течение ближайших двух недель: викарий, мой друг и благодетель, раньше ни за что не отпустит меня. Но я извещу мисс Темпл, чтобы она ожидала новую девочку. Таким образом, с приемом не будет никаких затруднений. До свидания!

– До свидания, мистер Брокльхерст! Передайте мой привет миссис Августе, и Теодоре, и мистеру Брокльхерсту, Броутону Брокльхерсту.

– Не премину, сударыня! Девочка, вот тебе книжка «Спутник ребенка»; прочти ее с молитвой, особенно «Описание ужасной и внезапной смерти Марты Дж., дурной девочки, предавшейся пороку лжи и обмана».

С этими словами мистер Брокльхерст вручил мне тощую брошюрку, аккуратно вшитую в папку, и, позвонив, чтоб ему подали экипаж, уехал. Миссис Рид и я остались одни. Несколько минут прошло в молчании; она шила, а я наблюдала за ней. Ей могло быть тогда лет тридцать шесть, тридцать семь. Это была женщина крепкого сложения, с крутыми плечами и широкой костью, невысокая, полная, но не расплывшаяся: у нее было крупное лицо с тяжелой и сильно развитой нижней челюстью; лоб низкий, подбородок массивный и выступающий вперед, рот и нос довольно правильные; под светлыми бровями поблескивали глаза, в которых не отражалось сердечной доброты. Кожа у нее была смуглая и матовая; волосы почти льняные; сложение прочное и здоровье отличное, – она не ведала, что такое хворь. Миссис Рид была аккуратной и строгой хозяйкой; она крепко забрала в руки хозяйство и арендаторов, и только ее дети иногда выходили из повиновения и смеялись над ней. Она одевалась со вкусом и умела носить красивые туалеты с достоинством.

Сидя на низенькой скамеечке, в нескольких шагах от ее кресла, я внимательно рассматривала ее фигуру и черты лица. В руке я держала трактат о внезапной смерти лгуньи, – эта история особенно рекомендовалась моему вниманию как весьма уместное для меня предостережение. То, что здесь сейчас произошло, – слова, сказанные миссис Рид мистеру Брокльхерсту, весь тон этого разговора, грубого и оскорбительного для меня, еще болезненно отдавалось в моей душе. Я вспоминала каждое слово с той же болью, с какой я слушала их, и во мне пробуждалось горячее желание отомстить.

Миссис Рид подняла голову; ее взгляд встретился с моим, пальцы перестали прилежно работать.

– Выйди из комнаты, возвращайся в детскую, – последовал приказ.

Вероятно, мой взгляд или что-нибудь во мне показалось ей вызывающим, так как в ее словах звучало крайнее, хотя и затаенное раздражение. Я встала, сделала несколько шагов к двери, затем вернулась, прошла через всю комнату и приблизилась к ней вплотную.

Я должна была говорить: меня слишком безжалостно попирали, я должна была возмутиться. Но как? Чем я могла отплатить моему врагу, какими располагала средствами? Я собралась с духом и бросила ей в лицо:

– Я не лгунья! Будь я лгуньей, я бы сказала, что люблю вас; но я заявляю, что не люблю; я ненавижу вас больше всех на свете, даже больше, чем Джона Рида! А эту книгу о лгунье можете отдать своей дочке Джорджиане, – это она лжет, а не я!

Руки миссис Рид все еще празднично лежали на ее работе, она остановила на мне свой ледяной взор, замораживая меня.

– Надеюсь, ты кончила? – спросила она тоном, каким говорят со взрослым противником и каким не обращаются к ребенку.

Эти глаза, этот голос растравили во мне всю ту неприязнь, которую я к ней питала. Дрожа с головы до ног, охваченная неудержимым волнением, я продолжала:

– Я рада, что вы мне не родная тетя! Никогда больше, во всю мою жизнь, я не назову вас тетей! Я ни за что не приеду повидать вас, когда вырасту; и если кто-нибудь спросит меня, любила ли я вас и как вы обращались со мной, я скажу, что при одной мысли о вас все во мне переворачивается и что вы обращались со мной жестоко и несправедливо!

– Как ты смеешь это говорить, Джейн Эйр?

– Как я смею, миссис Рид? Как смею? Оттого, что это правда. Вы думаете, у меня никаких чувств нет и мне не нужна хоть капелька любви и ласки, – но вы ошибаетесь. Я не могу так жить; а вы не знаете, что такое жалость. Я никогда не забуду, как вы втолкнули меня, втолкнули грубо и жестоко, в красную комнату и заперли там, – до самой смерти этого не забуду! А я чуть не умерла от ужаса, я задыхалась от слез, молила: «Сжальтесь, сжальтесь, тетя Рид! Сжальтесь!» И вы меня наказали так жестоко только потому, что ваш злой сын ударил меня ни за что, швырнул на пол. А теперь я всем, кто спросит о вас, буду рассказывать про это. Люди думают, что вы добрая женщина, но вы дурная, у вас злое сердце. Это вы лгунья!



Я еще не кончила, как моей душой начало овладевать странное, никогда не испытанное мною чувство освобождения и торжества. Словно распались незримые оковы и я наконец

вырвалась на свободу. И это чувство появилось у меня не без основания: миссис Рид, видимо, испугалась, рукоделие соскользнуло с ее колен; она воздела руки, заерзала на стуле, и даже лицо ее искажилось, словно она вот-вот расплачется.

– Ты ошибаешься, Джейн! Что с тобой? Отчего ты так дрожишь? Хочешь выпить воды?

– Нет, миссис Рид.

– Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь, Джейн? Уверю тебя, я готова быть твоим другом.

– Нет, неправда. Вы сказали мистеру Брокльхерсту, что у меня скверный характер и что я лгунья; а я решительно всем в Ловуде расскажу, какая вы и как вы со мной поступили!

– Джейн, ты не понимаешь: недостатки детей нужно искоренять.

– Я не лгунья! – закричала я громко и иступленно.

– Но ты несдержанна, Джейн, согласишься! А теперь возвращайся-ка в детскую, будь моей хорошей девочкой и приляг, отдохни...

– Я не ваша хорошая девочка; я не хочу прилечь. Отправьте меня в школу как можно скорее, миссис Рид, я здесь ни за что не останусь.

– Действительно, надо поскорее отослать ее в школу, – пробормотала миссис Рид; и, собрав рукоделие, она поспешно вышла из комнаты.

Я осталась одна на поле боя. Это была моя первая яростная битва и первая победа. Несколько мгновений я стояла неподвижно, наслаждаясь одиночеством победителя. Сначала я улыбалась, испытывая необычайный подъем, но эта жестокая радость угасла так же быстро, как и учащенное биение моего пульса. Ребенок не может вести борьбу со взрослыми, как вела я, не может дать волю своим безудержным порывам и не испытать после этого укоров совести и ледящего холода неизбежных сожалений. Степной курган, охваченный бушующим, всепожирающим пламенем, мог бы служить эмблемой моей души, когда я обвиняла миссис Рид и угрожала ей: та же степь, но черная, испепеленная, – вот образ моего душевного состояния, когда, после получасового размышления в тишине, я поняла, насколько безрассудно было мое поведение и как тяжело быть ненавидимой и ненавидеть.

Впервые я испытала сладость мести; пряным вином показалась она мне, согревающим и сладким, пока его пьешь, – но оставшийся после него терпкий металлический привкус вызывал во мне ощущение отравы. С какой охотой я бы попросила прощения у миссис Рид; но я знала – отчасти по опыту, отчасти инстинктивно, – что она оттолкнула бы меня с удвоенным презрением и вновь пробудила бы в моем сердце бурные порывы гнева.

Мне хотелось бы отдаться чему-нибудь более благородному, чем яростные обличения, пробудить в своей душе более мягкие чувства, чем мрачное негодование. Я взяла книгу – это были арабские сказки, – уселась и сделала попытку углубиться в нее. Но я не понимала того, что читаю, мои мысли уносились далеко, далеко, и страницы, которые я обычно находила такими захватывающими, ничего не говорили моей душе. Тогда я открыла стеклянную дверь столовой. Кусты стояли совершенно неподвижно: угрюмый мороз, без солнца, без ветра, сковал весь сад. Набросив на голову и плечи подол платья, я решила пройтись в уединенной части парка; но меня не радовали ни тихие деревья, ни сосновые шишки, падавшие на дорогу, ни мертвые останки осени – бурые, блеклые листья, которые ветром смело в кучи и сковало морозом. Я прислонилась к калитке и взглянула на пустую луговину, где уже не паслись овцы и где невысокую траву побил мороз и выбелил иней. День был хмурый, тусклое серое небо нависло снеговыми тучами; падали редкие хлопья снега и ложились, не тая, на обледевшую тропинку, на деревья и кусты. И вот я, несчастное дитя, глядела на все это и повторяла шепотом все вновь и вновь: «Что же мне делать? Что же мне делать?»

И вдруг я услышала звонкий голос:

– Мисс Джейн! Где вы? Идите завтракать!

Я отлично знала, что это Бесси, но не тронулась с места; ее легкие шаги слышались на дорожке.

– Нехорошая девочка! – сказала она. – Отчего вы не идете, когда вас зовут?

После тех мыслей, которым я предавалась, присутствие Бесси обрадовало меня, хотя она, как обычно, была не в духе. Но после моего столкновения с миссис Рид и победы над ней мимолетный гнев моей няни мало меня трогал, и мне захотелось погреться в лучах ее молодой жизнерадостности. Я обвила ее шею руками и сказала:

– Не надо, Бесси, не браните меня.

Никогда еще я не позволяла себе такого простого и естественного порыва. Бесси сразу же растрогалась.

– Странная вы девочка, мисс Джейн, – сказала она, глядя на меня сверху вниз, – какой-то странный и дикий ребенок. Правда, что вас отдадут в школу?

Я кивнула.

– И вам не жалко будет расстаться с бедной Бесси?

– А какое Бесси до меня дело? Она вечно бранит меня.

– Потому что вы такая чудная, пугливая и застенчивая. Надо быть смелее.

– Зачем? Ведь тогда меня будут еще больше обижать.

– Глупости! Хотя вам и достается, это верно. Когда моя мать приходила на той неделе проводить меня, она сказала мне: «Вот уж не хотела бы, чтобы кто-нибудь из моих ребят очутился на месте этой девочки!» А теперь идем-ка домой, у меня для вас приятная новость.

– Уж будто, Бесси?

– Дитя! Что вы хотите сказать? Как печально вы смотрите на меня! Так слушайте же: миссис, молодые барышни и молодой барин уезжают после обеда в гости, так что вы будете пить чай со мной. Я скажу кухарке, чтобы она вам испекла сладкий пирожок, а потом вы поможете мне пересмотреть ваши вещи: скоро ведь придется укладывать ваш чемодан. Миссис хочет отправить вас из Гейтсхэда через день-два, и вы можете отобрать себе какие угодно игрушки – все, что вам понравится.

– Бесси, обещайте мне больше не бранить меня до моего отъезда!

– Да уж ладно! Но только будьте и вы славной девочкой и больше не бойтесь меня! Не вздрагивайте, как только я что-нибудь порезче скажу; это ужасно раздражает.

– Нет, я не буду бояться вас, Бесси, я к вам привыкла; скоро мне придется бояться совсем других людей.

– Если вы будете их бояться, они не станут любить вас.

– Как и вы, Бесси?

– Разве я не люблю вас, мисс? Мне кажется, я привязана к вам больше, чем к остальным детям!

– Что-то незаметно.

– Ведь вот вы какая хитрая! Вы совсем по-другому разговаривать стали, откуда у вас взялась такая смелость и задор?

– Что ж, мне скоро придется уехать отсюда, и, кроме того... – я чуть было не рассказала ей, что произошло между мною и миссис Рид, но, поразмыслив, предпочла умолчать об этом.

– Значит, вы рады уехать от меня?

– Ничуть, Бесси; сейчас мне, пожалуй, даже грустно.

– «Сейчас»! Да еще «пожалуй»! Как спокойно моя барышня это говорит! А если я попрошу, чтобы вы меня поцеловали, вы не захотите? Вы скажете: «Пожалуй – нет»?!

– Я охотно поцелую вас, Бесси, наклоните голову.

Бесси наклонилась; мы обнялись, и я с облегченным сердцем последовала за ней в дом. Конец этого дня прошел в мире и согласии, а вечером Бесси рассказывала мне свои самые чудесные сказки и пела самые красивые песни. Даже и мою жизнь озарял иногда луч солнца.

Глава V

В это утро, девятнадцатого января, едва пробило пять часов, Бесси вошла со свечой ко мне в комнату; она застала меня уже на ногах и почти одетой. Я поднялась за полчаса до ее прихода, умылась и стала одеваться при свете заходившей ущербной луны, лучи которой лились в узенькое замерзшее окно рядом с моей кроватью. Мне предстояло отбыть из Гейтсхэда с дилижансом, проезжавшим мимо ворот в шесть часов утра. Встала пока только одна Бесси; она затопила в детской камин и теперь готовила мне завтрак. Не многие дети способны есть, когда они взволнованы предстоящим путешествием; не могла и я. Бесси тщетно уговаривала меня проглотить несколько ложек горячего молока и съесть кусочек хлеба. Убедившись, что ее усилия ни к чему не приводят, она завернула в бумагу несколько домашних печений и сунула их в мой саквояж, затем помогла мне надеть пальто и капор, закуталась в большой платок, и мы вдвоем вышли из детской. Когда мы проходили мимо спальни миссис Рид, она спросила:

– А вы не зайдете попрощаться с миссис?

– Нет, Бесси, когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни ее, ни детей и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я должна хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью.

– А вы что ответили, мисс?

– Ничего; я натянула одеяло и отвернулась к стене.

– Нехорошо вы сделали, мисс Джейн.

– Нет, хорошо, Бесси. Миссис Рид никогда не была мне другом, она всегда была моим врагом.

– О, перестаньте, мисс Джейн!

– Прощай, Гейтсхэд! – воскликнула я, когда мы миновали холл и вышли на крыльцо.

Луна зашла, было очень темно; Бесси несла фонарь, его лучи скользнули по мокрым ступеням и размягченному внезапной оттепелью гравию дороги. Каким сырым и холодным было это зимнее утро! Когда мы шли по двору, зубы у меня стучали. В сторожке привратника был свет. Мы вошли. Жена привратника еще только разводила в печке огонь, мой чемодан, который был доставлен сюда с вечера, стоял, перевязанный веревками, у двери. До шести оставалось всего несколько минут, затем часы пробили, и тут же донесся отдаленный стук колес. Я подошла к двери и стала смотреть, как фонари почтового дилижанса быстро приближаются во мраке.

– Она едет одна? – спросила жена привратника.

– Да.

– А далеко?

– За пятьдесят миль.

– Путь не близкий! Неужели миссис не побоялась отпустить ее одну так далеко?

Дилижанс подъехал. Вот он уже у ворот; он запряжен четверкой лошадей, на империале множество пассажиров. Кучер и кондуктор принялись торопить нас; мой чемодан был погружен; меня оторвали от Бесси, к которой я прижалась, осыпая ее поцелуями.

– Смотрите, хорошенько берегите ее! – крикнула она кондуктору, когда он поднял меня, чтобы посадить в дилижанс.

– Ладно, ладно! – последовал ответ; дверь захлопнулась, чей-то голос крикнул: «Трогай!» – и мы тронулись.

Так я рассталась с Бесси и Гейтсхэдом, так меня умчало в неведомые и, как мне тогда казалось, далекие и таинственные края.

Я мало что помню из этого путешествия; знаю только, что день казался неестественно долгим и мне чудилось, будто мы проехали многие сотни миль. Мы миновали несколько горо-

дов, а в одном, очень большом, дилижанс остановился; лошадей выпрягли, пассажиры вышли, чтобы пообедать. Меня отвели в гостиницу, и кондуктор предложил мне поесть. Но так как у меня не было аппетита, он оставил меня одну в огромной комнате; в обоих концах ее топились камины, с потолка свешивалась люстра, а вдоль одной из стен, очень высоко, тянулись хоры, где поблескивали музыкальные инструменты. Я долго ходила взад и вперед по этой комнате, испытывая какое-то необъяснимое чувство: я смертельно боялась, что вот-вот кто-то войдет и похитит меня, – ибо я верила в существование похитителей детей, они слишком часто фигурировали в рассказах Бесси. Наконец кондуктор вернулся; меня еще раз сунули в дилижанс, мой ангел-хранитель уселся на свое место, затрубил в рожок, и мы покатали по мостовой города Л.

Сырой и туманный день клонился к вечеру. Когда надвинулись сумерки, я почувствовала, что мы, должно быть, действительно далеко от Гейтсхэда: мы уже не проезжали через города, ландшафт менялся; на горизонте вздымались высокие серые холмы. Но вот сумерки стали гуще, дилижанс спустился в долину, поросшую лесом, и когда вся окрестность потонула во мраке, я еще долго слышала, как ветер шумит в деревьях.

Убаюканная этим шумом, я наконец задремала. Я проспала недолго и проснулась оттого, что движение вдруг прекратилось; дверь дилижанса была открыта, возле нее стояла женщина – видимо, служанка. При свете фонарей я разглядела ее лицо и платье.

– Есть здесь девочка, которую зовут Джейн Эйр? – спросила она. Я ответила «да», меня вынесли из дилижанса, поставили наземь мой чемодан, и карета тут же отъехала.

Ноги у меня затекли от долгого сидения, и я была оглушена непрерывным шумом и дорожной тряской. Придя в себя, я посмотрела вокруг: дождь, ветер, мрак. Все же я смутно различила перед собой какую-то стену, а в ней открытую дверь; в эту дверь мы и вошли с моей незнакомой спутницей, она закрыла ее за собой и заперла. Затем я увидела дом, или несколько домов, – строение оказалось очень длинным, со множеством окон, некоторые были освещены. Мы пошли по широкой, усыпанной галькой и залитой водой дороге и очутились перед входом. Моя спутница ввела меня в коридор, а затем в комнату с пылавшим камином, где и оставила одну.

Я стояла, согревая онемевшие пальцы у огня, и оглядывала комнату; свечи в ней не было, но при трепетном свете камина я увидела оклеенные обоями стены, ковер, занавески и мебель красного дерева; это была приемная – правда, не такая большая и роскошная, как гостиная в Гейтсхэде, но все же довольно уютная. Я была занята рассматриванием висевшей на стене картины, когда дверь открылась и вошла какая-то женщина со свечой; за ней следовала другая.

Первой из вошедших была стройная дама, черноглазая, черноволосая, с высоким белым лбом; она куталась в большой платок и держалась строго и прямо.

– Девочка слишком мала для такого путешествия, – сказала она, ставя свечу на стол. С минуту она внимательно разглядывала меня, затем добавила: – Надо поскорее уложить ее в постель. Она, видимо, устала. Ты устала? – спросила она, положив мне руку на плечо.

– Немножко, сударыня.

– И голодна, конечно. Дайте ей поужинать, перед тем как она ляжет, мисс Миллер. Ты впервые рассталась со своими родителями, детка, чтобы поступить в школу?

Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как мое имя, умею ли я читать, писать и хоть немного шить. Затем, ласково коснувшись моей щеки указательным пальцем, выразила надежду, что я буду хорошей девочкой, и отослала меня с мисс Миллер.

Даме, с которой я рассталась, могло быть около тридцати лет; та, которая шла теперь рядом со мной, казалась на несколько лет моложе. Первая произвела на меня сильное впечатление всем своим обликом, голосом, взглядом. Мисс Миллер выглядела заурядной; на лице ее с румянцем во всю щеку лежал отпечаток тревог и забот, а в походке и движениях была та торопливость, какая бывает у людей, поглощенных разнообразными и неотложными делами.

Я сразу же решила, что это, должно быть, помощница учительницы; так оно впоследствии и оказалось. Она повела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор по всему огромному, лишенному всякой симметрии зданию; наконец мы вышли из той части дома, где царил глухая, гнетущая тишина, и вступили в большую длинную комнату, откуда доносился шум многих голосов. В обоих концах ее стояло по два больших сосновых стола, на них горело несколько свечей, а вокруг, на скамьях, сидело множество девочек и девушек всех возрастов, начиная от девяти-десяти и до двадцати лет. При тусклом свете сальных свечей мне показалось, что девочек очень много, хотя на самом деле их было не больше восьмидесяти. На всех были одинаковые коричневые шерстяные платья старомодного покроя и длинные холщовые передники. Это было время, отведенное для самостоятельных занятий, и поразивший меня гул стоял в классной оттого, что воспитанницы заучивали вслух уроки.

Мисс Миллер показала мне знаком, чтобы я села на скамью возле дверей, затем, встав у порога комнаты, громко крикнула:

– Старшие, соберите учебники и положите их на место.

Четыре рослые девушки встали из-за своих столов и, обойдя остальных, стали собирать книги. Затем мисс Миллер отдала новое приказание:

– Старшие, принесите подносы с ужином.

Те же четыре девушки вышли и сейчас же вернулись, каждая несла поднос с порциями какого-то кушанья, посредине подноса стоял кувшин с водой и кружка.

Девочки передавали друг другу тарелки, а если кто хотел пить, то наливал себе в кружку, которая была общей. Когда очередь дошла до меня, я выпила воды, так как чувствовала жажду, но к пище не прикоснулась, – усталость и волнение совершенно лишили меня аппетита; однако я разглядела, что это была нарезанная ломтями запеканка из овсяной крупы.

Когда ужин был съеден, мисс Миллер прочла молитву, и девочки парами поднялись наверх. Усталость настолько овладела мною, что я даже не заметила, какова наша спальня. Я видела только, что она, как и класс, очень длинна. Сегодня мне предстояло спать в одной кровати с мисс Миллер; она помогла мне раздеться. Когда я легла, я рассмотрела длинные ряды кроватей, на каждую из которых быстро укладывалось по две девочки; через десять минут единственная свеча была погашена, и среди полной тишины и мрака я быстро заснула.

Ночь промелькнула незаметно; я настолько устала, что не видела снов. Лишь один раз я проснулась, услышала, как ветер проносится за стеной бешеными порывами, как льет потоками дождь, и почувствовала, что мисс Миллер уже лежит рядом со мною. Когда я снова открыла глаза, до меня донесся громкий звон колокола; девочки уже встали и одевались; еще не рассвело, и в спальне горело две-три свечи. Я поднялась с неохотой; было ужасно холодно, у меня дрожали руки; я с трудом оделась, а затем и умылась, когда освободился таз, что произошло, впрочем, не скоро, так как на шестерых полагался только один; тазы стояли на умывальниках посреди комнаты. Снова прозвонил колокол; все построились парами, спустились по лестнице и вошли в холодный, скупо освещенный класс; мисс Миллер опять прочла молитву.

– Стать по классам!

В течение нескольких минут происходила какая-то суматоха; мисс Миллер то и дело повторяла: «Тише! Соблюдайте порядок!» Когда порядок был наконец водворен, я увидела, что девочки построились четырьмя полукругиями перед четырьмя столами; все держали в руках книги, а на каждом столе перед пустым стулом лежало по огромной книге вроде Библии. Последовала пауза, длившаяся несколько секунд, во время которой раздавалось непрерывное приглушенное бормотание множества голосов; мисс Миллер переходила от класса к классу и шикала, стараясь водворить тишину.

Вдали опять зазвенел колокол, и тут вошли три дамы; каждая заняла свое место у стола, а мисс Миллер села на четвертый стул у самой двери, вокруг которого собрались самые маленькие девочки; в этот младший класс включили и меня и поставили в конце полукруга.

Приступили к занятиям. Была прочитана краткая молитва, затем тексты из Нового Завета, затем отдельные главы из Библии, и это продолжалось целый час. Тем временем окончательно рассвело. Неутомимый звонок прозвонил в четвертый раз; девочки построились и проследовали в другую комнату – завтракать. Как радовалась я возможности наконец-то поесть! Я чувствовала себя совсем больной от голода, так как накануне почти ничего не ела.

Столовая была большая, низкая, угрюмая комната. На двух длинных столах стояли, дымясь паром, мисочки с чем-то горячим, издававшим, к моему разочарованию, отнюдь не соблазнительный запах. Я заметила общее недовольство, когда аромат этой пищи коснулся обоняния тех, для кого она была предназначена. В первых рядах, где были большие девочки из старшего класса, раздался шепот:

– Какая гадость! Овсянка опять пригорела!

– Молчать! – раздался чей-то голос: это была не мисс Миллер, а кто-то из старших преподавательниц – маленькая смуглая особа, элегантно одетая, но несимпатичная; она торжественно села на почетное место за одним из столов, тогда как более полная дама председательствовала за другим. Тщетно искала я ту, которую видела накануне; она не показывалась. Мисс Миллер заняла место в конце того же стола, за которым поместили и меня, а пожилая дама иностранного вида – преподавательница французского языка, как я потом узнала, – уселась за другим столом. Прочли длинную молитву, спели хорал. Затем служанка принесла чай для учительниц, и трапеза началась.

Совершенно изголодавшаяся и обессиленная, я проглотила несколько ложек овсянки, не обращая внимания на ее вкус, но едва первый острый голод был утолен, как я почувствовала, что ем ужасную мерзость: пригоревшая овсянка почти так же отвратительна, как гнилая картошка; даже голод отступает перед ней. Медленно двигались ложки; я видела, как девочки пробовали похлебку и делали попытки ее есть, но в большинстве случаев отодвигали тарелки. Завтрак кончился, однако никто не позавтракал. Мы прочитали благодарственную молитву за то, чего не получили, и снова пропели хорал, затем направились из столовой в класс. Я вышла последней и видела, как одна из учительниц взяла миску с овсянкой и попробовала; она переглянулась с остальными; на их лицах отразилось негодование, и полная дама прошептала:

– Вот гадость! Как не стыдно!

Уроки начались лишь через пятнадцать минут. В классе стоял оглушительный шум, – в это время, видимо, разрешалось говорить громко и непринужденно, и девочки широко пользовались этим правом. Разговор вертелся исключительно вокруг завтрака, причем все бранили овсянку. Бедняжки! Это было их единственное утешение. Из учительниц в комнате находилась только мисс Миллер; вокруг нее столпилось несколько взрослых учениц, у них были серьезные лица, и они что-то с гневом говорили ей. Я слышала, как некоторые называли имя мистера Брокльхерста; в ответ мисс Миллер неодобрительно качала головой, однако не делала особых усилий, чтобы смирить всеобщее негодование: она, без сомнения, разделяла его.

Часы, висевшие в классной комнате, пробили девять; мисс Миллер отошла от группы взрослых девушек и, выйдя на середину комнаты, крикнула:

– Тихо! По местам!

Привычка к дисциплине сразу же сказалась: не прошло и пяти минут, как среди воспитанниц воцарился порядок и после вавилонского столпотворения наступила относительная тишина. Старшие учительницы заняли свои места; однако все как будто чего-то ждали. На скамьях, тянувшихся по обеим сторонам комнаты, восемьдесят девочек сидели неподвижно, выпрямившись; странное это было зрелище: все с зачесанными назад, прилизанными волосами, ни одного завитка; все в коричневых платьях с глухим высоким воротом, обшитым узеньким рюшем, с маленькими холщовыми сумками (напоминающими сумки шотландских горцев), висящими на боку и предназначенными для того, чтобы держать в них рукоделие; в дополнение ко всему этому – шерстяные чулки и грубые башмаки с жестяными пряжками.

Среди одетых таким образом воспитанниц я насчитала до двадцати взрослых девушек. Это были уже настоящие барышни. Такая одежда была им совершенно не к лицу и придавала нелепый вид даже самым хорошеньким.

Я продолжала рассматривать их, а по временам переводила взгляд на учительниц, причем ни одна из них мне не понравилась; в полной было что-то грубоватое, чернявая казалась весьма сердитой особой, иностранка – несдержанной и резкой, а мисс Миллер, бедняжка, с ее красновато-лиловыми щечками, производила впечатление существа совершенно задержанного. И вдруг, в то время как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все девочки, словно подкинутые пружиной, поднялись как один человек.

Что было тому причиной? Я не слышала никакого приказа и потому недоумевала. Но так как все глаза устремились в одну точку, посмотрела туда же и увидела ту самую особу, которая встретила меня накануне. Она стояла возле камина, – оба камина сейчас топились, – спокойно и серьезно оглядывая воспитанниц, выстроившихся двумя рядами. Мисс Миллер подошла к ней и о чем-то спросила; получив ответ, она вернулась на свое место и громко сказала:

– Старшая из первого класса, принесите глобусы.

Пока приказание выполнялось, упомянутая дама медленно двинулась вдоль рядов. У меня сильно развита шишка почитания, и я до сих пор помню тот благоговейный восторг, с каким я следила за ней. Теперь, при ярком дневном свете, я увидела, что она высока, стройна и красива; карие глаза с тонкой каймою длинных ресниц, полные ясности и благожелательности, оттеняли белизну высокого крутого лба; тогда не были в моде ни гладкие бандо, ни длинные локоны, и ее очень темные волосы лежали на висках крупными завитками; платье, тоже по моде того времени, было суконное лиловое, с отделкой из черного бархата. На поясе висели золотые часы. (Часы тогда еще не были так распространены, как теперь.) Пусть читатель прибавит к этому тонкие благородные черты, мраморную бледность, статную фигуру и движения, полные достоинства, и вы получите, насколько его можно передать словами, точный портрет мисс Темплъ – Марии Темплъ, как я прочла позднее на ее молитвеннике, когда мне было однажды поручено нести его в церковь.

Директриса Ловуда (ибо таково было звание этой дамы), сев перед двумя глобусами, стоявшими на столе, собрала первый класс и начала урок географии; остальные классы собрались вокруг других учительниц; последовали занятия по истории, грамматике и так далее; затем письмо и арифметика, а также музыка, которой мисс Темплъ занималась с некоторыми старшими девочками. Уроки шли по часам, и когда наконец пробило двенадцать, мисс Темплъ поднялась.

– Мне нужно сказать воспитанницам несколько слов, – заявила она.

При звуках ее голоса поднявшийся было после уроков шум сейчас же стих. Она продолжала:

– Сегодня вы получили плохой завтрак, который не могли есть, и вы, наверно, голодны. Я распорядилась, чтобы всем вам дали хлеба с сыром.

Учительницы удивленно взглянули на нее.

– Я беру это на свою ответственность, – добавила она в виде объяснения и тотчас вышла из класса.

Сыр и хлеб были тут же принесены и розданы, и все с радостью подкрепились. Затем последовало приказание: «В сад!» Каждая ученица надела шляпку из грубой соломки с цветными коленкоровыми завязками и серый фризový плащ. Меня нарядили так же, и я, следуя общему течению, вышла на воздух.

Сад был обнесен настолько высокой оградой, что не было никакой возможности заглянуть поверх нее; с одной стороны тянулась веранда; середину сада, поделенную на бесчисленные клумбочки, окружали широкие аллеи. Клумбочки предназначались для воспитанниц,

которые должны были поливать их, причем у каждой девочки была своя. Летом, покрытые цветами, эти клумбочки были, вероятно, очень красивы, но сейчас, в конце января, на всем лежала печать заброшенности и уныния. Мне стало тоскливо, когда я оглянулась вокруг. День отнюдь не благоприятствовал прогулке; правда, дождя не было, но в воздухе стоял сырой желтый туман, а под ногами все еще хлюпала вода после вчерашнего ливня. Наиболее здоровые девочки принялись бегать и играть, но бледные и слабенькие столпились в кучу, ища защиты от холода под крышей веранды; и когда мглистая сырость начала пробираться их до костей, до меня стал то и дело доноситься глухой кашель.

Пока я еще ни с кем не говорила, и никто, по-видимому, не обращал на меня внимания; я стояла одна в стороне, но я привыкла к чувству одиночества, и оно не слишком угнетало меня. Я прислонилась к одному из столбов веранды, плотнее закуталась в свой серый плащ и, забывая о холодном ветре, пробиравшем меня до костей, и о мучительном голоде, предавалась наблюдениям и раздумью. Мои мысли были смутны и отрывочны; я еще не осознала, где нахожусь. Гейтсхэд и моя прошлая жизнь, казалось, отступили в неизмеримую даль; настоящее было неопределенно и туманно, а картину будущего я и вовсе не могла себе представить. Я обвела взором этот по-монастырски уединенный сад, затем взглянула на дом, одна часть которого казалась одряхлевшей и ветхой, другая – совершенно новой. В этой новой части, где находились классная и дортуар, были стрельчатые решетчатые окна, как в церкви; на каменной доске над входом я прочла надпись: «Ловудский приют. Эта часть здания восстановлена в таком-то году миссис Наоми Брокльхерст из Брокльхерст-холла, графство такое-то». «Да светит ваш свет перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного (Ев. от Матфея, глава V, стих 16)».

Я перечитывала эти слова все вновь и вновь, чувствуя, что не в силах понять их смысла. Я все еще размышляла над словом «приют», пытаясь найти связь между начальными словами надписи и стихом из Священного Писания, когда кашель за моей спиной заставил меня обернуться. Поблизости, на каменной скамье, сидела девочка; она склонилась над книжкой и была, видимо, целиком поглощена ею. Со своего места я прочла заглавие книги – «Расселас»⁷, показавшееся мне странным и оттого более завлекательным. Перевертывая страницу, она случайно подняла глаза, и я сейчас же спросила:

– Интересная книжка?

Я уже решила попросить ее дать мне почитать эту книгу.

– Мне нравится, – ответила она после небольшой паузы, во время которой рассматривала меня.

– А о чем там написано? – продолжала я.

Не знаю, каким образом у меня хватило смелости заговорить первой с совершенно незнакомой мне девочкой. Это противоречило и моей природе, и моим привычкам. Вероятно, ее увлечение книгой затронуло во мне какую-то созвучную струну: ведь я тоже любила читать, хотя и чисто по-детски, – серьезное и сложное я плохо усваивала и плохо понимала.

– Если хочешь, посмотри, – сказала девочка, протягивая мне книгу.

Я так и сделала; полистав книгу, я убедилась, что ее содержание менее заманчиво, чем заглавие. Книга, на мой детский вкус, показалась мне скучной, там не было ничего ни про фей, ни про эльфов, а страницы сплошного убористого текста не сулили ничего занимательного. Я вернула книгу ее владелице, и та спокойно взяла ее и уже намеревалась снова погрузиться в чтение, когда я опять решила обратиться к ней.

– Ты можешь мне объяснить, что это за надпись над входом, что такое «Ловудский приют»?

⁷ «История Расселаса, принца абиссинского» – роман Сэмюэля Джонсона (1709–1784), ученого и критика, составителя Толкового словаря английского языка.

- Это та самая школа, где ты будешь учиться.
- Отчего она называется «приютом»? Разве она отличается от других школ?
- Это вроде убежища для бедных сирот: и ты, и я, и все остальные девочки живут здесь из милости. Ты, вероятно, сирота? У тебя умерли отец и мать?
- Оба умерли давно.
- Так вот, здесь у каждой девочки умер отец или мать, а некоторые совсем не помнят ни отца, ни матери. Это приют, где воспитываются сироты.
- Разве мы не платим денег? Разве нас держат даром?
- Наши друзья или близкие платят за нас пятнадцать фунтов в год.
- А отчего же ты говоришь «из милости»?
- Оттого, что пятнадцать фунтов – это очень мало за обучение и содержание; недостающую сумму собирают подпиской.
- А кто же дает деньги?
- Разные добрые леди и джентльмены – здесь, в окрестностях, и в Лондоне.
- Кто это Наоми Брокльхерст?
- Это дама, построившая новую часть дома, как написано на доске; ее сын здесь всем управляет.
- Почему?
- Потому что он казначей и директор.
- Значит, этот дом принадлежит не той высокой даме с часами, которая приказала дать нам хлеб и сыр?
- Мисс Темпл? О нет! Если бы он принадлежал ей! А так она должна за каждый свой шаг отвечать перед мистером Брокльхерстом. Мистер Брокльхерст сам покупает нам провизию и одежду.
- Он тоже живет здесь?
- Нет, в двух милях отсюда, в большом доме.
- Он хороший человек?
- Он духовное лицо и, как говорят, делает много добра.
- Так высокую даму зовут мисс Темпл?
- Да.
- А как зовут других учительниц?
- Ту, с румяными щеками, зовут мисс Смит; она учит нас рукоделию и кройке, – ведь мы сами себе шьем платья, юбки и все остальное; низенькая брюнетка – это мисс Скетчерд, она преподает историю, грамматику и репетирует второй класс; а та, что носит шаль и носовой платок сбоку на желтой ленте, – мадам Пьеро, она из Лилля, из Франции, и преподает французский язык.
- А тебе нравятся эти учительницы?
- Да, ничего.
- Тебе нравится маленькая черная и эта мадам?.. Я не могу произнести ее фамилию правильно, как ты.
- Мисс Скетчерд очень вспыльчивая, – смотри, не раздражай ее; мадам Пьеро в общем неплохая...
- Но мисс Темпл лучше всех, правда?
- Мисс Темпл очень добра и очень умна; она на голову выше остальных, она гораздо образованнее их.
- Ты здесь давно?
- Два года.
- Ты сирота?
- У меня умерла мать.

– А тебе хорошо здесь?

– Ты задаешь слишком много вопросов. Пока я тебе ответила достаточно, теперь я хочу почитать.

Но в эту минуту зазвонили к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую, едва ли был аппетитнее, чем тот, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных котлах, откуда поднимался пар с резким запахом прогорклого сала. Это месиво состояло из безвкусного картофеля и обрезков тухлого мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию. Стараясь есть через силу, я спрашивала себя: неужели нас будут так кормить каждый день?

После обеда мы немедленно вернулись в класс. Уроки возобновились и продолжались до пяти часов. Единственным достойным внимания событием этого вечера было то, что девочку, с которой я разговаривала на веранде, мисс Скетчерд прогнала с урока истории и приказала ей стать посреди комнаты. Кара эта показалась мне чрезвычайно позорной, особенно в отношении такой большой девочки, – на вид ей можно было дать не меньше тринадцати лет. Я ожидала, что она будет проливать слезы стыда и отчаяния, но, к моему удивлению, она не заплакала и даже не покраснела. Спокойная и серьезная, стояла она посреди класса, под устремленными на нее взглядами всей школы. «Откуда у нее такое спокойствие и твердость духа? – спрашивала я себя. – Будь я на ее месте, я, кажется, пожелала бы, чтобы земля разверзлась подо мною и поглотила меня. А у нее такой вид, словно она размышляет о чем-то, не имеющем ничего общего с наказанием, которому она подверглась, о чем-то, далеком от того, что вокруг нее и перед ней. Я слышала о снах наяву, – может быть, ей снится такой сон? Ее взор прикован к полу, но я уверена, что она ничего не видит, – этот взор словно обращен внутрь, в глубину души; она как будто поглощена своими воспоминаниями и не замечает, что перед ней в действительности. Хотела бы я знать, хорошая ли она девочка или дурная?»

После пяти часов нас опять покормили, – каждая получила по маленькой кружке кофе и по ломтику серого хлеба. Я с жадностью проглотила хлеб и кофе, но могла бы съесть еще столько же, – мой голод несколько не был утолен. Последовал получасовой отдых, и снова начались занятия. Затем нам дали по стакану воды с кусочком овсяной запеканки, была прочтена молитва, и мы стали укладываться спать. Так прошел мой первый день в Ловуде.

Глава VI

Следующий день начался, как и предыдущий, – мы встали и оделись при свечах; однако в это утро пришлось обойтись без церемонии умывания: вода в кувшинах замерзла. Накануне вечером погода изменилась, и всю ночь через щели окон в нашей спальне свистал такой резкий норд-ост, что мы дрожали от холода в своих постелях и вода в кувшинах превратилась в лед.

Не успел еще окончиться бесконечно тянувшийся час, посвященный молитве и чтению Библии, как я уже буквально одеревенела от холода. Наконец наступило время завтрака, и на этот раз овсяная каша не пригорела; по качеству она была съедобна, но количество ее было очень недостаточно. Какой маленькой показалась мне моя порция! Я, кажется, могла бы съесть вдвое больше.

С этого дня меня включили в число учениц четвертого класса, и я должна была отныне подчиняться твердому распорядку уроков и занятий. До сих пор я была только зрительницей всего происходившего в Ловуде; теперь мне предстояло стать участницей. Так как я не привыкла учить наизусть, то сначала уроки казались мне бесконечно длинными и трудными; частая смена предметов также сбивала меня с толку, и я была рада, когда наконец, около трех часов, мисс Смит дала мне полоску кисеи в два ряда длиной, иголку, наперсток и сказала, чтобы я села в уголке классной комнаты и подрубила кисею. В этот час большинство девочек занималось рукоделием, лишь один класс стоял вокруг мисс Скетчерд; девочки читали, в комнате царила тишина. Я с интересом прислушивалась к чтению, замечая про себя, как отвечает та или другая девочка и что говорит ей мисс Скетчерд – бранит или хвалит ее. Это был урок английской истории; среди читавших я заметила и мою знакомую: в начале урока она занимала среди учениц первое место, но за какую-то ошибку в произношении или за невнимание ее вдруг отправили на последнее место.

Однако даже и тут мисс Скетчерд не оставляла ее в покое, она то и дело обращалась к ней с замечаниями!

– Бернс (видимо, это была ее фамилия; здесь всех девочек звали по фамилии, как принято звать мальчиков-школьников), Бернс, опять ты ставишь ноги боком; выверни носки наружу немедленно! – Бернс, опять ты выставляешь вперед подбородок! – Бернс, я требую, чтобы ты держала голову прямо. Я не позволю тебе стоять передо мной в такой позе! – и так далее, и так далее.

После того как глава была дважды прочитана, учительница приказала закрыть книги и начала спрашивать. Речь шла о царствовании Карла I, и то и дело возникали вопросы о тоннаже, о пошлине, о так называемых таможенных правилах, о «корабельных деньгах», причем большинство учениц затруднялось с ответом; однако когда учительница обращалась к Бернс, для той будто не существовало никаких трудностей: ее память, видимо, легко удерживала самую суть урока, и у нее был готов ответ на каждый вопрос. Я ждала, что мисс Скетчерд похвалит ее за внимание, но вместо этого учительница вдруг крикнула:

– Грязная, противная девчонка! Ты сегодня утром даже ногтей не вычистила!

Бернс, к моему удивлению, ничего не ответила.

«Отчего, – думала я, – она не объяснит, что не могла ни умыться, ни вычистить ногти, так как вода замерзла?»

Однако мое внимание было отвлечено мисс Смит, которая попросила меня поддержать ей моток ниток. Разматывая их, она время от времени задавала мне вопросы: училась ли я до этого в школе, умею ли я метить, вышивать, вязать и так далее. Пока она не отпускала меня, я была лишена возможности наблюдать за мисс Скетчерд; когда же я наконец вернулась на свое место, учительница только что отдала какое-то приказание, смысла которого я не уловила, – и Бернс немедленно вышла из класса и направилась в чуланчик, где хранились книги и откуда она

вышла через полминуты, держа в руках пучок розог. Это орудие наказания она с почтительным книксеном протянула мисс Скетчерд, затем спокойно, не ожидая приказаний, сняла фартук, и учительница несколько раз преобильно ударила ее розгами по обнаженной шее. На глазах Бернс не появилось ни одной слезинки, и хотя я при виде этого зрелища вынуждена была отложить шитье, так как пальцы у меня дрожали от чувства беспомощного и горького гнева, ее лицо сохраняло обычное выражение кроткой задумчивости.

– Упрямая девчонка! – воскликнула мисс Скетчерд. – Видно, тебя ничем не исправишь! Неряха! Унеси розги!

Бернс послушно выполнила приказание. Когда она снова вышла из чулана, я пристально посмотрела на нее: она прятала в карман носовой платок, и на ее худой щеке виднелся след стертой слезы.

Под вечер наступил час игр. Впоследствии он казался мне самым приятным временем в Ловуде. Кусочек хлеба и кружка кофе, которые мы получали в пять часов, если не насыщали нас, то все же подкрепляли наши силы; напряжение длинного учебного дня ослабевало; в школьной комнате было теплее, чем утром, – каминные горелки горели немного ярче, так как должны были заменять еще не зажженные свечи; отблески багрового пламени, непринужденная резвость и смешанный гул многих голосов давали ощущение желанной свободы.

Вечером того дня, когда мисс Скетчерд наказала розгами свою ученицу Бернс, я бродила между партами, столами и группами смеющихся девушек, как обычно, без подружки, но не чувствуя одиночества. Проходя мимо окон, я время от времени приподнимала шторы и выглядывала наружу: падал густой снег, и на нижних звеньях окон уже намело целые сугробы; прижав ухо к стеклу, я могла различить сквозь веселый шум в комнате безутешные завывания ветра в саду.

Если бы я оставила позади уютный семейный очаг и ласковых родителей, я, вероятно, в этот час особенно остро ощущала бы разлуку; вероятно, ветер родил бы печаль в моем сердце, а хаотический шум смущал бы мой душевный мир. Теперь же мною овладело лихорадочное возбуждение: мне хотелось, чтобы ветер выл еще громче, чтобы сумерки скорее превратились в густой мрак, а окружающий беспорядок – в открытое неповиновение.

Перепрыгивая через скамьи и проползая под столами, я добралась до одного из каминов; там я увидела Бернс, она стояла на коленях возле высокой каминной решетки, молча, не замечая ничего, что происходит вокруг, погруженная в книгу, которую она читала при тусклом свете углей.

– Это все еще «Расселас»? – спросила я, остановившись подле нее.

– Да, – сказала она, – я сейчас заканчиваю.

Через пять минут она захлопнула книгу. Я обрадовалась.

«Теперь, – подумала я, – мне, может быть, удастся вызвать ее на разговор»; и я опустилась рядом с ней на пол.

– Как тебя зовут?

– Элен.

– Ты издалека сюда приехала?

– Я приехала с севера, это почти на границе Шотландии.

– Ты когда-нибудь вернешься туда?

– Надеюсь, хотя трудно загадывать вперед.

– Тебе, наверно, хочется уехать из Ловуда?

– Нет! Отчего же? Меня прислали в Ловуд, чтобы здесь я могла получить образование; какой смысл уезжать, не добившись этой цели?

– Но ведь эта учительница – мисс Скетчерд – так несправедлива к тебе.

– Несправедлива? Нисколько. Она просто строгая: она указывает мне на мои недостатки.

– А я бы на твоём месте её возненавидела; я бы ни за что не покорилась. Посмела бы она только тронуть меня! Я бы вырвала розги у неё из рук, я бы изломала их у неё перед носом.

– А по-моему, ничего бы ты не сделала, а если бы и сделала – мистер Брокльхерст тебя живо исключил бы из школы. А сколько горя это доставило бы твоим родным! Так не лучше ли терпеливо снести обиду, от которой никто не страдает, кроме тебя самой, чем совершить недуманный поступок, который будет ударом для твоих близких? Да и Библия учит нас отвечать добром за зло.

– Но ведь это унизительно, когда тебя секут или ставят посреди комнаты, где столько народу. И ведь ты уже большая девочка! Я гораздо моложе тебя, а я бы этого не вынесла.

– И все-таки твой долг – все вынести, раз это неизбежно; только глупые и безвольные говорят: «Я не могу вынести», если это их крест, предназначенный им судьбой.

Я слушала её с изумлением: я не могла понять этой философии безропотности, и ещё меньше могла понять или одобрить ту снисходительность, с какой Элен относилась к своей мучительнице. И все же я догадывалась, что Элен Бернс видит вещи в каком-то особом свете, для меня недоступном. Я подозревала, что, может быть, права она, а я ошибаюсь, но не собиралась в это углубляться и отложила свои размышления до более подходящего случая.

– Ты говоришь, у тебя есть недостатки, Элен, какие же? Мне ты кажешься очень хорошей.

– Вот тебе доказательство, что нельзя судить по первому впечатлению: мисс Скетчерд говорит, что я неряшлива, – и действительно, мне никак не удастся держать свои вещи в порядке. Я очень беззаботна, не выполняю правил, читаю, когда нужно учить уроки, ничего не умею делать методически и иногда говорю, как и ты, что я просто не могу выносить никакой системы и порядка. Все это очень раздражает мисс Скетчерд, которая по природе аккуратна, точна и требовательна.

– И к тому же раздражительна и жестока, – добавила я. Но Элен Бернс не соглашалась со мной; она молчала.

– А что, мисс Темпл так же строга, как и мисс Скетчерд?

Когда я произнесла имя мисс Темпл, по серьёзному лицу девочки скользнула мягкая улыбка.

– Мисс Темпл очень добрая, ей трудно быть строгой даже с самой дурной девочкой из нашей школы. Она видит мои недостатки и ласково указывает мне на них, а если я делаю что-нибудь достойное похвалы, никогда не скупится на поощрения. И вот тебе доказательство моей испорченности: даже её замечания, такие кроткие, такие разумные, не могут излечить меня от моих недостатков; и даже её похвала, которую я так высоко ценю, не в силах заставить меня всегда быть аккуратной и внимательной.

– Как странно, – сказала я, – неужели это так трудно?

– Тебе легко, без сомнения. Я наблюдала за тобой сегодня утром в классе и видела, как ты внимательна: ты, кажется, ни на минуту не отвлекалась от объяснений мисс Миллер. А мои мысли постоянно где-то бродят. Мне нужно слушать мисс Скетчерд и запомнить, что она говорит, – а я иногда даже не слышу её голоса; я точно грежу наяву. Порой мне кажется, что я на родине, в Нортумберленде, и звуки, которые я слышу, – это журчание ручейка, который протекает мимо нашего дома в Дипдине, и если приходится отвечать на вопрос, мне надо сперва проснуться; но так как я ничего не слышала, занятая своим ручейком, я не знаю, что отвечать.

– А как ты хорошо отвечала сегодня!

– Это чистая случайность; то, о чем мы читали, заинтересовало меня. Сегодня, вместо того чтобы думать о Дипдине, я размышляла, как может человек, желающий добра, поступать так несправедливо и опрометчиво, как поступал Карл Первый. И я думала: жаль, что он, такой хороший и честный, ничего и знать не хотел, кроме своих королевских прав; что, если бы он был более справедлив и дальновиден и прислушивался к духу времени! И все же мне нравится

Карл, я уважаю и жалею его, бедного короля, сложившего голову на плахе. Да, его враги хуже его: они пролили кровь, которую были не вправе проливать. Как они смели убить его!

Казалось, Элен говорит сама с собой. Она забыла, что я с трудом могу понять ее, – ведь я ничего, или почти ничего, не знала о предмете, который навел ее на эти размышления. Я постаралась вернуть ее к интересовавшему меня вопросу.

– А когда урок дает мисс Темпл, твои мысли тоже где-то бродят?

– Конечно, нет, разве только изредка. Ведь мисс Темпл всегда скажет что-нибудь новое, что гораздо интереснее моих собственных мыслей; ее приятно слушать, а часто она рассказывает о том, что мне давно хотелось бы знать.

– Значит, на уроках мисс Темпл ты хорошо ведешь себя?

– Да, но это выходит само собой: я не делаю для этого никаких усилий, а только следую своим склонностям, и значит – это не моя заслуга.

– Нет, это большая заслуга. Ты хороша с теми, кто хорош с тобой. А по-моему, так и надо. Если бы люди всегда слушались тех, кто жесток и несправедлив, злые так бы все и делали по-своему: они бы ничего не боялись и становились бы все хуже и хуже. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар – я уверена в этом, – и притом с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас.

– Я надеюсь, ты изменишь свою точку зрения, когда подрастешь; пока ты только маленькая, несмышленая девочка.

– Но я так чувствую, Элен. Я должна ненавидеть тех, кто, несмотря на мои усилия угодить им, продолжает ненавидеть меня: это так же естественно, как любить того, кто к нам ласков, или подчиняться наказанию, когда оно заслужено.

– Не насилием можно победить ненависть и, уж конечно, не мщением загладить несправедливость.

– А чем же тогда?

– Почитай Новый Завет и обрати внимание на то, что говорит Христос и как он поступает.

– Что же он говорит?

– Любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, творите добро ненавидящим и презирающим вас.

– Тогда, значит, я должна была бы любить миссис Рид, – а я не могу! Я должна была бы благословлять ее сына Джона, – а это совершенно невозможно!

Теперь Элен Бернс в свою очередь попросила меня рассказать о себе, и я рассказала ей всю повесть моих страданий и обид. Я говорила так, как чувствовала, страстно и с горечью, ни о чем не умалчивая и ничего не смягчая.

Элен терпеливо дослушала меня до конца. Я ждала от нее какого-нибудь замечания, но она молчала.

– Ну что ж, – спросила я нетерпеливо, – разве миссис Рид не жестокосердная, дурная женщина?

– Она была жестокой к тебе, без сомнения, но, видимо, ей не нравился твой характер, как мисс Скетчерд не нравится мой. Удивительно, что ты помнишь до мелочей все ее слова, все обиды. Как странно, что ее несправедливое отношение так глубоко запало тебе в душу! На меня несправедливость не производит такого неизгладимого впечатления. Разве ты не чувствовала бы себя счастливее, если бы постаралась забыть и ее суровость, и то негодование, которое она в тебе вызвала?

Элен сказала это, и ее голова, и без того всегда слегка склоненная, опустилась еще ниже. Я видела, что ей не хочется продолжать разговор и что она предпочитает остаться наедине со своими мыслями. Однако ей не дали времени на размышление: к ней подошла одна из старших, рослая грубоватая девушка, и заявила с резким кемберлендским акцентом:

– Элен Бернс, если ты сейчас же не приведешь в порядок свой ящик в комод и не сложишь рукоделие, я позову мисс Скетчерд и покажу ей, что у тебя делается!

Элен очнулась от грез, она вздохнула, встала и пошла выполнять приказание старшей, не медля и не прекослова.

Глава VII

Первые три месяца в Ловуде показались мне веком, и отнюдь не золотым. Я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям. Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физические лишения, хотя переносить их было тоже нелегко.

В течение января, февраля и части марта – сначала из-за глубоких снегов, а затем, после их таяния, из-за весенней распутицы – наши прогулки ограничивались садом; исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневно час, чтобы дышать свежим воздухом. Убогая одежда не могла защитить нас от резкого холода; у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там; руки без перчаток вечно зябли и покрывались цыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их, израненные и онемевшие, в башмаки. Доводила нас до отчаяния и крайняя скудость пищи; у нас был здоровый аппетит растущих детей, а получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между двумя претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в пять часов! Отдав третьей претендентке по крайней мере половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом.

В эти зимние месяцы особенно унылы бывали воскресенья. Нам приходилось плестись за две мили в брокльбриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие: во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между двумя службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом.

По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой; резкий ветер дул с севера, с заснеженных холмов, и буквально обжигал нам лицо.

Я вспоминаю, как мисс Темпл быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно «храбрым солдатам». Другие учительницы, бедняжки, были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас.

Как мечтали мы, возвращаясь, о свете и тепле яркого камина! Но малышам и в этом было отказано: перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки, жались друг к другу малыши, пряча иззябшие руки под передники.

Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба – то есть целый ломоть вместо половины – и, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения, остальное я неизменно должна была отдавать.

В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из Катехизиса, а также V, VI и VII главы от Матфея и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер; она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек и их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно: бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались, и они, обессилив, опускались на пол; тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями.

Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Брокльхерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь первый месяц моего пребывания в Ловуде; может быть, он продолжал гостить у своего друга викария. Во всяком случае, в его отсутствие я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его. Но в конце концов он явился.

Однажды, после обеда (я находилась в Ловуде уже свыше трех недель), я сидела, держа в руках аспидную доску, и размышляла над трудным примером на деление, как вдруг, рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт; и когда две минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась *en masse*⁸, мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и возле мисс Темплъ – она тоже поднялась – вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаминном коврике в Гейтсхэде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась: это был мистер Брокльхерст, в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшем его рост и худобу.

У меня были свои причины опасаться его приезда: я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала миссис Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Брокльхерста поставить мисс Темплъ и других учительниц в известность относительно порочности моей натуры. Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки заклеить меня как дурную девочку. И вот теперь он был здесь.

Он стоял возле мисс Темплъ и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я нисколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая я испорченная, и с мукой следила за ее взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот, и так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие.

– Я полагаю, мисс Темплъ, что нитки, которые я закупил в Лоутоне, можно пустить в дело, они пригодятся для коленкорových рубашек, и я подобрал к ним иголки. Пожалуйста, не забудьте сказать мисс Смит, что я не записал штопальные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек; и, пожалуйста, чтобы она ни в каком случае не выдавала каждой ученице больше чем по одной: если давать им по несколько, они будут небрежничать и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы с шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках; там было много очень худо заштопанных чулок: дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно.

Он замолчал.

– Ваши указания будут исполнены, сэр, – ответила мисс Темплъ.

– И потом, сударыня, – продолжал он, – прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю два раза рюшки на воротниках. Это слишком часто, – согласно правилам, они могут менять их только однажды.

– Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон в тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям в Лоутон, и, когда они уходили, я разрешила им переменить рюшки.

Мистер Брокльхерст кивнул.

– Ну, один раз – куда ни шло! Но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом, есть еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее: принимая отчет от экономки, я обнаружил, что за две недели воспитанницам был дважды выдан второй завтрак, состоявший

⁸ Как один человек (*фр.*).

из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о втором завтраке. Кто ввел это новшество, кто его разрешил?

– Это я распорядилась, сэр, – отозвалась мисс Темплъ, – завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть, а я не рискнула оставить их голодными до обеда.

– Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее: вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтобы привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака – какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать, предлагая им взамен более вкусное кушанье; поступая так, вы просто тешите их плоть, а значит – извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения; наоборот, всякий такой случай дает нам лишний повод для того, чтобы укрепить дух воспитанниц, научить их мужественно переносить земные лишения. Очень уместна была бы небольшая речь; опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве Господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за ним; о Его наставлениях, что не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих; о Его божественном утешении: «Если вы жаждете или страждете во имя мое, благо вам будет». О сударыня, вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их бренную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертные души!

Мистер Брокльхерст снова сделал паузу, видимо взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Темплъ опустила взор; теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что, казалось, только резец скульптора может открыть его.

Тем временем мистер Брокльхерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попало в глаз, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор:

– Мисс Темплъ, мисс Темплъ, что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыня, и кудрявые, вся голова кудрявая! – И, подняв трость, он указал на ужаснувшую его воспитанницу, причем его рука дрожала.

– Это Джулия Северн, – отозвалась мисс Темплъ очень спокойно.

– Джулия Северн или кто другой, сударыня, но по какому праву она разрешает себе ходить растрепой? Как смеет она так дерзко нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у нее на голове целая шапка кудрей!

– Волосы у Джулии выются от природы, – ответила мисс Темплъ еще спокойнее.

– От природы! Но мы не можем подчиняться природе, – я хочу, чтобы эти девочки стали детьми Милосердия; и потом, зачем такие космы? Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темплъ, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер! Я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается, – вон у той высокой; скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене.

Мисс Темплъ провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она отдала приказание, и девушки, наконец поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей парты взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Брокльхерст не видел их: возможно, он тогда понял бы, что, сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек.

В течение пяти минут рассматривал он обратную сторону этих живых медалей, затем изрек, – и слова его прозвучали как смертный приговор:

– А космы следует остричь!

Мисс Темпл, видимо, что-то ему возразила.

– Сударыня, – продолжал он, – я служу Владыке, царство которого не от мира сего. И моя миссия – умерщвлять в этих девушках вождения плоти, научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умашать свои волосы и рядиться в пышные одежды; каждая из этих молодых особ носит косы, и их, конечно, заплело тщеславие; всех их, повторяю я, нужно остричь... Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют...

Здесь мистера Брокльхерста прервали: в комнату вошли гости, это были три дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На двух молоденьких (красивых девушках лет шестнадцати-семнадцати) были входившие тогда в моду кастановые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов ниспадали на шею густые пряди тщательно завитых волос; пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны.



Это были барышни Брокльхерст с матерью; мисс Темпл встретила их и проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с уважаемым мистером Брокльхерстом

и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск, пока он беседовал о делах с экономкой, выпрашивал прачку и поучал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят, – другое отвлекло и приковало мое внимание.

Прислушиваясь к речам мистера Брокльхерста и мисс Темплъ, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее – оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол, – раздался ужасный предательский треск. Все взоры обратились ко мне; теперь я знала, что все погибло, и, наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило разразиться.

– Какая неосторожная девочка! – сказал мистер Брокльхерст и сейчас же добавил: – Кстати – это новая воспитанница. – Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал: – Я должен сказать по поводу нее несколько слов. – Затем, возвысив голос, – каким громким он показался мне! – заявил: – Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед.

Своими силами я бы не могла подняться, все мои члены точно онемели; но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье, а мисс Темплъ ласково подвела меня к нему и ободряюще шепнула:

– Не бойся, Джейн, я видела, что ты не нарочно; ты не будешь наказана.

Но этот ласковый шепот вонзился в мое сердце, как кинжал.

«Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», – подумала я; и мое сердце забилося от приступа страшного гнева против таких людей, как господа Риды, Брокльхерсты и компания: я ведь не Элен Бернс.

– Принесите вон тот стул, – сказал мистер Брокльхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек; стул был принесен. – Поставьте на него эту девочку.

Кто-то поставил меня на стул. Кто, не помню: я ничего не сознавала; я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Брокльхерста и что этот нос в двух шагах от меня, а подо мною волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебристых перьев.

Мистер Брокльхерст пристально посмотрел на меня и откашлялся.

– Сударыни, – сказал он, обращаясь к своему семейству, – мисс Темплъ, наставницы и дети! Вы видите эту девочку?

Конечно, они видели; я чувствовала, что все глаза устремлены на меня, и они, точно зажигательные стекла, обжигают мою кожу.

– Смотрите, она еще молода и кажется обычным ребенком. Бог, по своему милосердию, дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам; она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако, к моему прискорбию, я должен сказать, что это так.

Наступила пауза, во время которой я почувствовала, что мне уже удастся сдержать дрожь, сотрясавшую все мои члены: ведь так или иначе суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью.

– Дорогие дети! – продолжал с пафосом проповедник. – Это печальный, это горестный случай! Но мой долг предупредить вас, ибо девочка, которая могла бы быть одной из смиренных овец Господних, на самом деле – отверженная, это не член верного стада, она втерлась в него. Она – враг. Берегитесь ее, остерегайтесь следовать ее примеру; если нужно – избегайте ее общества, исключите ее из ваших игр, держитесь от нее подальше. А вы, наставницы, следите за ней: наблюдайте за каждым ее движением, взвешивайте каждое слово, расследуйте каждый поступок, наказывайте плоть, чтобы спасти душу, – если только спасение возможно, ибо это

дитя (мой язык едва мне повинуется), этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Бrame и стоит на коленях перед Джаганатом... Эта девочка – лгунья!

Затем последовала десятиминутная пауза, в течение которой я, уже овладев собой, наблюдала, как вся женская половина семьи Брокльхерстов извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам, причем мамаша качала головой, а обе барышни шептали: «Какой ужас!»

Мистер Брокльхерст продолжал:

– Все это я узнал от ее благодетельницы, той благочестивой и милосердной дамы, которая удочерила ее, сироту, воспитала как собственную дочь, и за чью доброту и великодушие этот злосчастный ребенок отплатил такой черной, такой жестокой неблагодарностью, что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разлучить ее с собственными детьми, чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту; она прислана сюда для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Вифезда. И вы, наставницы и директриса, прошу вас, – не давайте водам застаиваться и гнить вокруг нее.

После этого риторического заключения мистер Брокльхерст застегнул верхние пуговицы пальто и пробормотал что-то, обращаясь к своему семейству; дамы встали, поклонились мисс Темпл, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери и обернувшись, мой обличитель сказал:

– Пусть она еще полчаса стоит на стуле. И пусть с ней сегодня никто не разговаривает.

И вот я стояла на этом возвышении; еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать; но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня; на ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них! Как пронизывал их лучистый взгляд! Сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне! Как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступавшие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. Элен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей какой-то нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место; но, снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка! Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество; улыбка преобразила ее резкие черты – худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лег отблеск какой-то ангельской доброты, хотя в это самое время на руке Элен Бернс красовалась «повязка неряхи» и всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Скетчерд отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что Элен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы! Ведь и на солнце есть пятна, но глаза людей, подобных мисс Скетчерд, способны видеть только мелкие изъяны и слепы к яркому блеску небесных светил.

Глава VIII

Полчаса еще не успели истечь, как часы пробили пять; воспитанницы были отпущены и пошли в столовую пить чай. Тогда я осмелилась слезть со стула. В комнате царил глубокий сумрак. Я забилась в уголок и села на пол. Та волшебная сила, которая до сих пор поддерживала меня, стала иссякать, наступила реакция, и охватившая меня скорбь была так непреодолима, что я упала ниц и зарыдала. Элен Бернс уже не было подле меня, ничто меня не поддерживало; предоставленная самой себе, я дала волю слезам, и они оросили доски пола, на которых я лежала. Я так старалась быть послушной, я хотела так много сделать в Ловуде: найти друзей, заслужить уважение и любовь! И я уже достигла известных успехов: как раз в это утро я была переведена в число первых учениц; мисс Миллер похвалила меня; мисс Темпл одобрительно улыбнулась, она обещала заняться со мной рисованием и дать мне возможность изучать французский язык, если я в течение двух ближайших месяцев буду делать такие же успехи. Мои соученицы относились ко мне благожелательно, сверстницы обращались как с равной, и никто не оскорблял меня. И вот я лежала здесь, растоптанная и опозоренная! Удастся ли мне когда-нибудь подняться?

«Никогда!» – решила я и страстно пожелала себе смерти. В то время как я, рыдая, бормотала это пожелание, кто-то приблизился ко мне. Я подняла голову, – снова возле меня была Элен Бернс, в этой длинной пустой комнате угасающий свет камина смутно озарил ее фигурку. Она принесла мне кофе и хлеба.

– Ну-ка, поешь немного, – сказала она.

Но я отодвинула от себя и хлеб и кофе: мне казалось, что я подавлюсь первым же глотком и первой крошкой хлеба. Элен, вероятно, смотрела на меня с удивлением; я никак не могла овладеть собой, сколько ни старалась, и продолжала громко рыдать. Тогда она села рядом со мной на пол, охватила колени руками и положила на них голову. В таком положении она просидела долго, безмолвная, как изваяние. Я первая заговорила:

– Элен, Элен, как ты можешь сидеть с девочкой, которую все считают лгуньей?

– Неправда, Джейн! Только восемьдесят человек слышали, что тебя так называли. А в мире сотни миллионов людей.

– Но какое мне дело до миллионов? Те восемьдесят, которых я знаю, презирают меня.

– Джейн, ты, право же, ошибаешься: наверно, никто в нашей школе не презирает и не ненавидит тебя; наоборот, я уверена, что многие тебя очень жалеют.

– Как они могут жалеть меня после того, что сказал мистер Брокльхерст?

– Мистер Брокльхерст не Бог; он даже не почтенный, всеми уважаемый человек. Здесь его не любят, да он ничего и не сделал, чтобы заслужить любовь. Вот если бы он обращался с тобой как со своей любимицей, тогда у тебя нашлось бы много врагов, и явных и тайных; но ведь это не так, и большинство девочек, наверно, охотно посочувствовали бы тебе, если бы только смели. Может быть, учительницы и старшие день-два будут к тебе холоднее, но в душе они расположены к тебе; старайся по-прежнему хорошо вести себя, и эти чувства проявятся тем сильнее, чем больше они были скрыты. Кроме того, Джейн... – Она остановилась.

– Ну что, Элен? – сказала я, взяв ее за руку. Она нежно стала растирать мои пальцы, чтобы согреть их, и продолжала:

– Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей.

– Да, Элен! Я понимаю, главное – знать, что я не виновата; но этого недостаточно: если никто не будет любить меня, лучше мне умереть. Я не вынесу одиночества и ненависти, Элен. Чтобы заслужить любовь твою, или мисс Темпл, или еще кого-нибудь, кого я действительно

люблю, я согласилась бы, чтобы мне сломали руку или бык забодал меня. Я охотно бы стала позади брыкающейся лошади, чтобы она ударила меня копытом в грудь...

– Успокойся, Джейн! Ты слишком заботишься о любви окружающих. Ты слишком горячо все принимаешь к сердцу. Творец, создавший твое тело и вдохнувший в него жизнь, дал тебе более твердую опору, чем твое слабое «я» или чем подобные тебе слабые создания. Кроме нашей земли, кроме человеческого рода, существует незримый мир, царство духов. Этот мир окружает нас, он повсюду; и духи оберегают нас, их дело – стоять на страже; и хотя бы мы умирали от стыда и горя, хотя бы нас окружало презрение и ненависть угнетала бы нас, – ангелы видят наши мучения, они скажут, что мы не виноваты (если это действительно так; а я знаю, что ты невиновна и что низкое обвинение мистера Брокльхерста исходит от миссис Рид; сразу же увидела по твоим горящим глазам, по твоему чистому лбу, что у тебя правдивая душа). А Бог только ждет, когда наш дух отделится от плоти, чтобы увенчать нас всей полнотою награды. Зачем же поддаваться отчаянию, если жизнь недолга, а смерть – верный путь к счастью и свету?

Я молчала. Элен успокоила меня, но в этом покое была какая-то неизъяснимая печаль. Я чувствовала веяние скорби в ее словах, но не могла понять, откуда эта скорбь. А когда она замолчала, ее дыхание стало учащенным и она закашлялась коротким, сухим кашлем, я мгновенно забыла о собственном горе, охваченная смутной тревогой за нее.

Положив голову на плечо Элен, я обняла ее; она привлекла меня к себе, и мы сидели молча. Но это продолжалось недолго, ибо в комнате появился кто-то третий. Ветер прогнал тяжелые тучи, и ярко засияла полная луна; ее луч, упав в одно из окон, осветил и нас, и приближавшуюся к нам фигуру, в которой мы узнали мисс Темплъ.

– Я ищу тебя, Джейн Эйр, – сказала она, – я хочу, чтобы ты зашла ко мне в комнату; а раз здесь Элен Бернс, пусть зайдет и она.

Мы встали и, следуя за нашей наставницей, прошли по лабиринту коридоров и поднялись по лестнице.

В ее комнате ярко горел камин и было очень уютно. Мисс Темплъ предложила Элен Бернс сесть в низенькое кресло у камина, а сама села в другое кресло и привлекла меня к себе.

– Ну что, все прошло? – спросила она, вглядываясь в мое лицо. – Ты утешилась наконец?

– Боюсь, что я никогда не утешусь.

– Отчего же?

– Оттого, что меня несправедливо обвинили; и вы, мисс Темплъ, и все другие будут теперь считать, что я дурная.

– Мы будем считать тебя такой, какой ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай вести себя хорошо, и мы будем довольны тобой.

– Правда, мисс Темплъ?

– Ну конечно, – сказала она, обняв меня одной рукой. – А теперь расскажи мне, кто эта дама, которую мистер Брокльхерст назвал твоей благодетельницей?

– Это миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечение.

– Значит, она удочерила тебя не по собственному желанию?

– Нет, мисс Темплъ, она очень этого не хотела, но я часто слышала от слуг, будто дядя перед смертью взял с нее обещание, что она всегда будет заботиться обо мне.

– Ну, так вот, Джейн. Ты знаешь, или, во всяком случае, должна знать, что когда на суде в чем-нибудь обвиняют человека, ему дают право защищаться. Расскажи правдиво все, что ты помнишь; но ничего не прибавляй и не преувеличивай.

Я твердо решила, что буду как можно сдержанней, как можно справедливее, и, помолчав несколько минут, чтобы обдумать свои слова, рассказала ей печальную повесть моего детства. Обессиленная предшествующими волнениями, я была в своем рассказе гораздо сдержаннее, чем обычно, когда касалась этой печальной темы, и, крепко памятуя предостережения Элен не поддаваться безудержной мстительности, вложила в свой рассказ гораздо меньше запальчиво-

сти и раздражения, чем обычно. Будучи, таким образом, более сдержанным и простым, рассказ мой произвел более сильное впечатление: я чувствовала, что мисс Темпл верит мне до конца.

Во время своего рассказа я упомянула имя мистера Ллойда, посетившего меня после припадка; я, кажется, до самой смерти не могла бы забыть ужасный случай в красной комнате: боюсь, что при описании его мне не удалось сохранить хладнокровие, так как ничто не могло смягчить воспоминаний о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда миссис Рид отвергла мои горячие мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате наедине с призраком.

Я закончила. Мисс Темпл некоторое время смотрела на меня в молчании. Затем она сказала:

– Я немного знаю мистера Ллойда. Я напишу ему. Если он подтвердит то, что ты сказала, с тебя при всех будет снято обвинение; что касается меня, Джейн, в моих глазах ты оправдана уже сейчас.

Она поцеловала меня и, все еще не отпуская от себя (мне было очень хорошо возле нее, я испытывала детскую радость, глядя на ее лицо, на ее платье, на скромные украшения, на белый лоб с густыми шелковистыми кудрями и лучистые темные глаза), продолжила, обращаясь к Элен Бернс:

– А ты как чувствуешь себя сегодня, Элен? Ты днем много кашляла?

– Не так много, сударыня.

– А боль в груди?

– Она теперь слабее.

Мисс Темпл встала, взяла ее за руку, сосчитала пульс; затем опять опустилась в свое кресло; при этом я услышала, как она тихонько вздохнула. Несколько минут она была погружена в задумчивость, потом, овладев собой, весело сказала:

– Ну, сегодня вы мои гости, и я должна принимать вас, как гостей.

Она позвонила.

– Барбара, – сказала она вошедшей горничной, – я еще не пила чаю. Принесите поднос и поставьте две чашки для этих двух молодых барышень.

Поднос был принесен. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко начищенный чайник, стоявший на маленьком круглом столике возле камина. Как благоухал горячий чай и поджаренный хлеб! Но, к сожалению (ибо я начинала испытывать голод), гренков оказалось очень мало. Мисс Темпл тоже обратила на это внимание.

– Барбара, – сказала она, – не можете ли вы принести нам побольше хлеба с маслом? Здесь на троих не хватит.

Барбара вышла, но вскоре вернулась.

– Сударыня, миссис Харден говорит, что она прислала обычную порцию.

К сведению читателей, миссис Харден была экономка; эта женщина, которой мистер Брокльхерст весьма доверял, вся состояла из китового уса и железа.

– Ну, хорошо, – отозвалась мисс Темпл, – мы как-нибудь обойдемся, Барбара. – И, когда девушка ушла, она пояснила улыбаясь: – К счастью, я могу добавить кое-что к этому скудному угощению.

Предложив мне и Элен сесть за стол, она поставила перед каждой из нас чашку чая с восхитительным, хотя и очень тоненьким кусочком поджаренного хлеба, а затем поднялась, отперла шкаф и вынула из него что-то завернутое в бумагу и оказавшееся большим сладким пирогом.

– Я хотела дать вам это с собою, когда вы уйдете, – сказала она, – но так как хлеба мало, то вы получите его сейчас, – и она нарезала пирог большими кусками.

Нам казалось в этот вечер, что мы питаемся нектаром и амброзией; немалую радость доставляло нам и присутствие ласковой хозяйки, которая с улыбкой смотрела на то, как мы

утоляли свой голод, наслаждаясь столь изысканным и щедрым угощением. Когда мы кончили чай и поднос был убран, она снова подозвала нас к камину; мы сели по обе стороны от нее, и затем между мисс Темпл и Элен начался разговор, присутствовать при котором оказалось для меня действительно большой честью.

На всем облике мисс Темпл лежал отпечаток внутреннего покоя, ее черты выражали возвышенное благородство, она говорила неторопливо и с достоинством, исключавшим всякую несдержанность, порывистость, горячность; в ней было что-то, внушавшее тем, кто смотрел на нее и слушал ее, чистую радость и чувство благоговейного почитания; таковы и сейчас были мои ощущения. Что касается Элен Бернс, то я не могла надивиться на нее.

Быть может, вкусный чай, яркое пламя камина, присутствие и ласка ее обожаемой наставницы были тому причиной, а может быть, сказались еще неизвестные мне черты ее своеобразной натуры, но в ней точно пробудились какие-то новые силы. Ее всегда бледные и бескровные щеки окрасились ярким румянцем, а глаза засияли влажным блеском, что придало им вдруг необычайную красоту, и они казались теперь красивее, чем глаза мисс Темпл, но поражал не их яркий блеск, не длинные ресницы и словно нарисованные брови – красота этих глаз была вся в их выражении, живости, сиянии. И вот сердце заговорило ее устами, и ее речь полилась из неведомых мне глубин, – ибо как может четырнадцатилетняя девочка иметь душу, достаточно сильную, чтобы из нее бил родник чистого, всеобъемлющего и пламенного красноречия? А именно такими казались мне рассуждения Элен в тот знаменательный вечер; словно ее дух стремился пережить в несколько часов все то, что у многих растягивается на целую долгую жизнь.

Они беседовали о предметах, о которых я никогда не слышала: о канувших в вечность временах и народах, о дальних странах, об уже открытых или едва подслушанных тайнах природы; они говорили о книгах. И сколько же книг они успели прочесть! Какими сокровищами знаний они владели! И как хорошо они, видимо, знали Францию и французских писателей! Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпл спросила Элен, не пытается ли она в свободную минуту вспомнить латынь, которой ее учил отец, и затем, взяв с полки книгу, предложила ей перевести страничку Вергилия; девочка выполнила ее просьбу, и мое благоговение росло с каждым прочитанным стихом. Едва она успела кончить, как прозвонил звонок, возвещающий о том, что настало время ложиться спать. Медлить было нельзя. Мисс Темпл обняла нас обеих и, прижав к своему сердцу, сказала:

– Бог да благословит вас, дети!

Она задержала мою подругу в своих объятиях чуть дольше, чем меня, и отпустила ее с большой неохотой; за Элен, а не за мною следили ее глаза, когда мы шли к двери, о ней она второй раз тяжело вздохнула, из-за нее отерла слезу.

Едва войдя в спальню, мы услышали голос мисс Скетчерд. Она осматривала ящики комода и только что обнаружила беспорядок в вещах Элен Бернс. Встретив девочку резким замечанием, она тут же пригрозила, что завтра приколет к ее плечу с полдюжины неаккуратно сложенных предметов.

– Мои вещи действительно были в позорном беспорядке, – прошептала мне Элен. – Я хотела убрать их, но забыла.

На другой день мисс Скетчерд написала крупными буквами на куске картона слово «неряха» и украсила этой надписью широкий, умный и спокойный лоб девочки. Та ходила с ним до вечера, терпеливо и кротко, считая, что заслужила наказание. Едва мисс Скетчерд, закончив вечерние уроки, ушла, как я побежала к Элен, сорвала картон и швырнула его в камин. Ярость – чувство, совершенно ей незнакомое, – жгла меня весь день, и горячие, крупные слезы то и дело набегали на глаза, ибо зрелище этого смирения причиняло мне невыносимую боль.

Примерно неделю спустя после описанных событий мисс Темпл получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, видимо подтвердивший правоту моих слов. Собрав всю школу, мисс Темпл объявила, что в связи с обвинением, выдвинутым против Джейн Эйр, было проведено самое тщательное расследование, и она счастлива, что может заявить перед всеми о моем полном оправдании. Учительницы окружили меня. Все жали мне руки и целовали меня, а по рядам моих подруг пробежал шепот удовлетворения.

Таким образом, с меня была снята мучительная тяжесть, и я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом; постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способности. Через две-три недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через два месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования. Помню, что в один день я выучила первые два времени глагола *être*⁹ и нарисовала свой первый домик (его стены были так кривы, что могли поспорить с Пизанской башней). Вечером, ложась в постель, я даже забыла представить себе роскошный ужин из жареной картошки или же из булки и парного молока – мои излюбленные яства, которыми я обычно старалась в воображении утолить постоянно мучивший меня голод. Вместо этого я представляла себе в темноте прекрасные рисунки, и все они были сделаны мной: дома и деревья, живописные скалы и развалины, стада на пастбище во вкусе голландских живописцев, пестрые бабочки, трепещущие над полураскрытыми розами, птицы, клюющие зрелые вишни, или окруженное молодыми побегами плюща гнездо королька с похожими на жемчуг яйцами. Я старалась также прикинуть в уме, скоро ли я смогу переводить французские сказки, томик которых мне сегодня показывала мадам Пьеро; однако я не успела всего додумать, так как крепко уснула.

Прав был Соломон, сказав: «Угощение из зелени, но при любви, лучше, нежели откормленный бык, но при нем ненависть».

Теперь я уже не променяла бы Ловуд со всеми его лишениями на Гейтсхэд с его навязчивой роскошью.

⁹ Быть (*фр.*).

Глава IX

Однако лишения, вернее – трудности жизни в Ловуде становились все менее ощутимы. Приближалась весна. Она пришла незаметно. Зимние морозы прекратились, снега растаяли, ледяные ветры потеплели. Мои несчастные ноги, обмороженные и распухавшие в дни резких январских холодов, начали заживать под действием мягкого апрельского тепла. Ночью и утром уже не было той чисто канадской температуры, от которой застывает кровь в жилах. Час, предназначенный для игр, мы теперь охотнее проводили в саду, а в солнечные дни пребывание там становилось просто удовольствием и радостью; зеленая поросль покрывала темно-бурые клумбы и с каждым днем становилась все гуще, словно ночами здесь проносилась легкокрылая надежда, оставляя наутро все более явственный след. Между листьев проглянули цветы – подснежники, крокусы, золотистые анютины глазки. По четвергам, когда занятия кончались, мы предпринимали далекие прогулки и находили еще более прелестные цветы по обочинам дороги и вдоль изгородей.

Я открыла также бесконечное удовольствие в созерцании вида – его ограничивал только горизонт, – открывавшегося поверх высокой, утыканной гвоздями ограды нашего сада: там тянулись величественные холмы, окружавшие венцом глубокую горную долину, полную яркой зелени и густой тени, а на каменистом темном ложе ее шумела веселая речушка, подернутая сверкающей рябью. Совсем иным казался этот пейзаж под свинцовым зимним небом, скованный морозом, засыпанный снегом! Тогда из-за фиолетовых вершин наплывали туманы, холодные, как смерть, их гнали восточные ветры, и они стлались по склонам и сливались с морозной мглой, стоявшей над речкой, и сама речка неслась тогда бурно и неудержимо. Она мчалась сквозь лес, наполняя окрестности своим ревом, к которому нередко примешивался шум проливного дождя или вой выюги, а по берегам стояли рядами остовы мертвых деревьев.

Апрель сменился маем. Это был ясный и кроткий май. Каждый день ярко синело небо, грели мягкие солнечные лучи, и ласковые ветерки дули с запада или юга. Растительность мощно пробивалась повсюду. Ловуд встряхивал своими пышными кудрями, он весь зазеленел и расцвел. Его высокие тополя и дубы вновь ожили и облеклись в величественные зеленые мантии, кусты в лесу покрылись листьями, бесчисленные виды мхов затянули бархатом каждую ямку, а золотые первоцветы казались лучами солнца, светившими с земли. В тенистых местах их бледное сияние походило на брызги света. Всем этим я наслаждалась часто, долго, беспрепятственно и почти всегда в одиночестве, – эта неожиданная возможность пользоваться свободой имела свою особую причину, о которой пора теперь сказать.

Разве описанная мною восхитительная местность среди гор и лесов, в речной излучине не напоминала райский уголок? Да, она была прекрасна; но здорова ли – это другой вопрос.

Лесная долина, где находился Ловуд, была колыбелью ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. И сейчас началась эпидемия тифа; болезнь распространялась и росла по мере того, как расцветала весна; заползла она и в наш сиротский приют – многолюдная классная и дортуары оказались рассадником заразы; и не успел еще наступить май, как школа превратилась в больницу.

Полуголодное существование и застарелые простуды создали у большинства воспитанниц предрасположенность к заболеванию – из восьмидесяти девочек сорок пять слегли одновременно. Уроки были прерваны, правила распорядка соблюдались менее строго, и те немногие, что еще не заболели, пользовались неограниченной свободой. Врач настаивал на том, что им для сохранения здоровья необходимо как можно дольше находиться на открытом воздухе; но и без того ни у кого не было ни времени, ни охоты удерживать нас в комнатах. Все внимание мисс Темпл было поглощено больными: она все время находилась в лазарете и уходила только ночью на несколько часов, чтобы отдохнуть. Все остальные учителя были заняты сборами в

дорогу тех немногих девочек, которые, по счастью, имели друзей или родственников, согласившихся взять их к себе. Однако многие были уже заражены и, вернувшись домой, вскоре умерли там. Другие умерли в школе, и их похоронили быстро и незаметно, так как опасность распространения эпидемии не допускала промедления.

В то время как жестокая болезнь стала постоянной обительницей Ловуда, а смерть – его частой гостьей, в то время как в его стенах царили страх и уныние, а в коридорах и комнатах стояли больничные запахи, которые нельзя было заглушить ни ароматичными растворами, ни курениями, – над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду цвело множество мальв ростом чуть не с дерево, раскрывались лилии, разноцветные тюльпаны и розы, маленькие клумбы были окружены веселой темно-розовой каймой маргариток. По вечерам и по утрам благоухал шиповник, от него пахло яблоками и пряностями. Но в большинстве своем обитатели Ловуда не могли наслаждаться этими дарами природы, и только мы носили на могилы умерших девочек пучки трав и цветов.

Однако те дети, которые оставались здоровыми, полностью наслаждались красотой окрестностей и сияющей весной. Никто не обращал на нас внимания, и мы, как цыгане, с утра до ночи бродили по долинам и рощам. Мы делали все, что нам нравилось, и шли, куда нас влекло. Условия нашей жизни тоже стали лучше. Ни мистер Брокльхерст, ни его семейство не решались даже приблизиться к Ловуду. Никто не надзирал за хозяйством, злая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Ее заместительница, которая раньше заведовала лоутонским лазаретом, еще не переняла ее обычаев и была щедрее, да и кормить приходилось гораздо меньше девочек: больные ели мало. Во время завтрака наши мисочки были налиты до краев. Когда кухарка не успевала приготовить настоящий обед, а это случалось довольно часто, нам давали по большому куску холодного пирога или ломоть хлеба с сыром, и мы уходили в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко, и там с удовольствием съедали принесенное.

Я больше всего любила гладкий широкий камень, сухой и белый, лежавший посредине ручья; к нему можно было пробраться только по воде, и я переходила ручей босиком. На камне хватало места для двоих, и мы располагались на нем с моей новой подругой. Это была некая Мери-Энн Вильсон, неглупая и наблюдательная девочка; ее общество мне нравилось – она была большая шутница и оригиналка, и я чувствовала себя с ней просто и легко. Мери-Энн была на несколько лет старше меня, больше знала жизнь, ее рассказы были для меня интересны, и она умела удовлетворить мое любопытство. Будучи снисходительна к моим недостаткам, она никогда не удерживала и не порицала меня. У нее был дар повествования, у меня – анализа; она любила поучать, я – спрашивать. Поэтому мы прекрасно ладили, и если это общение и не приносило нам особой пользы, оно было приятно.

А где же была Элен Бернс? Отчего я не с ней проводила эти сладостные дни свободы? Разве я забыла ее? Или я была так легкомысленна, что начала тяготиться ее благородной дружбой? Конечно, Мери-Энн Вильсон была несравнима с моей первой подругой: она рассказывала занятные истории и охотно болтала и шутила со мной, в то время как Элен всегда умела пробудить в тех, кто имел счастье общаться с ней, интерес к возвышенному.

Все это верно, читатель; и я это прекрасно знала и чувствовала. Хотя я и очень несовершенное создание, с многочисленными недостатками, которые вряд ли могут искупить мои слабые достоинства, я никогда бы не устала от общества Элен Бернс; в моей душе продолжало жить чувство привязанности к ней, такое сильное, нежное и благоговейное, какое я редко потом испытывала. Да и как могло быть иначе, ведь Элен всегда и при всех обстоятельствах дарила мне спокойную, верную дружбу, которую не могло смутить или ослабить ни раздражение, ни непонимание. Но Элен была больна: вот уже несколько недель, как мы с ней не виделись; я даже не знала, в какой комнате верхнего этажа она находится. Ее не положили, как я выяснила, в лазарет, где лежали тифозные больные, ибо у нее была чахотка, а не тиф. Мне

же, по моему неведению, чахотка представлялась чем-то очень безобидным, такой болезнью, которую уход и время могут излечить.

Эту уверенность поддерживало во мне и то обстоятельство, что в солнечные дни ее иногда выносили в сад; но и тут мне не разрешалось приближаться к ней и разговаривать; я видела ее только из школьного окна и притом очень неясно: она была закутана в одеяло и сидела довольно далеко от меня, в саду возле веранды.

Однажды, в начале июля, мы с Мери-Энн очень поздно загуляли в лесу; отделившись, как обычно, от остальных, мы забрели в глушь так далеко, что начали плутать и вынуждены были, чтобы расспросить о дороге, зайти в уединенный домик, где жили мужчина и женщина, пасшие в этом лесу стадо полудиких свиней. Когда мы наконец вернулись домой, уже всходила луна. У ворот дома мы увидели лошадь, которая, как мы знали, принадлежала врачу. Мери-Энн высказала предположение, что, вероятно, кому-нибудь стало очень худо, если за мистером Бейтсом послали так поздно. Она вошла в дом, а я еще задержалась в саду, чтобы посадить несколько кустиков растений, принесенных из леса, так как боялась, что они завянут, если я это отложу до утра. Закончив посадку, я все еще медлила вернуться в комнаты: садилась роса, и цветы благоухали особенно нежно. Вечер был такой чудесный, спокойный, теплый; все еще алевший закат обещал и на завтра ясный день. Луна величественно всходила на потемневшем востоке. Я наслаждалась всем этим, как настоящее дитя, и вдруг во мне с небывалой остротой мелькнула мысль:

«Как грустно сейчас лежать в постели, зная, что тебе грозит смерть. Ведь этот мир прекрасен! Как тяжело быть из него отозванной, уйти неведомо куда!»

И тут я впервые попыталась осмыслить привитые мне представления о небе и аде и отступила растерянная; впервые, оглядевшись кругом, я увидела повсюду зияющую бездну. Незыблемой была только одна точка – настоящее; все остальное рисовалось мне в виде бесформенных облаков и зияющей пропасти; и я содрогнулась от ужаса перед возможностью сорваться и рухнуть в хаос. Погруженная в эти размышления, я вдруг услышала, как открылась парадная дверь: вышел мистер Бейтс, а с ним одна из нянек. Он сел на лошадь и уехал, и она уже собиралась запереть дверь, когда я подбежала к ней.

– Как чувствует себя Элен Бернс?

– Очень плохо, – ответила она.

– Это к ней приезжал мистер Бейтс?

– Да.

– А что он говорит?

– Он говорит, что ей уже недолго быть с нами.

Эта фраза, услышав я ее вчера, вызвала бы во мне только мысль, что Элен собираются отправить домой, в Нортгумберленд. Я бы не заподозрила в этих словах намека на ее близкую смерть; но сейчас я поняла это сразу. Мне тут же стало ясно, что дни Элен Бернс сочтены и что она скоро уйдет в царство духов, – если это царство существует. Меня охватил ужас, затем я почувствовала приступ глубокой скорби, затем желание, просто потребность увидеть ее; и я спросила, в какой комнате она лежит.

– Она в комнате у мисс Темплъ, – сказала няня.

– А можно мне пойти поговорить с ней?

– О нет, девочка. Едва ли это возможно. Да и тебе пора домой. Ты тоже заболеешь, если останешься в саду, когда выпала роса.

Няня заперла парадную дверь. Я направилась по коридору в классную комнату. Как раз пробило девять, и мисс Миллер звала воспитанниц в дортуар.

Прошло не больше двух часов. Было, вероятно, около одиннадцати. Чувствуя, что я не в силах заснуть, и убедившись по наступившей в спальне тишине, что мои подруги крепко спят, я неслышно поднялась, надела платье поверх ночной рубашки, босиком прокралась к двери и

отправилась в ту часть здания, где была комната мисс Темпл. Мне надо было пройти в другой конец корпуса, но я знала дорогу, а лившийся в окна яркий свет сиявшей в чистом небе летней луны освещал мне путь. Резкий запах камфоры и древесного уксуса подсказал мне, что я прохожу мимо тифозной палаты, – и я миновала дверь как можно быстрее, опасаясь, как бы дежурная няня не заметила меня. Больше всего на свете я боялась, что кто-нибудь заставит меня вернуться. Я должна была увидеть Элен! Я должна была обнять ее перед смертью, поцеловать в последний раз, обменяться с ней последним словом!

Я спустилась по лестнице, прошла длинным коридором, бесшумно открыла и притворила две двери и наконец дошла до другой лестницы; поднявшись по ней, я оказалась прямо перед комнатой мисс Темпл. Сквозь замочную скважину и из-под двери просачивался свет. Царила глубокая тишина. Подойдя еще ближе, я увидела, что дверь слегка приоткрыта, – вероятно, для того, чтобы пропустить хоть немного свежего воздуха в эту обитель болезни. Полная решимости и нетерпения, взволнованная до глубины души, я с трепетом открыла дверь. Мои взоры искали Элен и опасались увидеть смерть.

Рядом с кроватью мисс Темпл, полускрытая белым пологом, стояла маленькая кровать. Я увидела под простыней очертания лежавшей Элен, но ее лицо заслонял полог. Няня, с которой я говорила в саду, спала в кресле, на столе тускло горела свеча. Мисс Темпл нигде не было видно. Впоследствии я узнала, что ее вызвали в тифозную палату к бредившей девочке. Я осторожно подошла к кровати и остановилась возле нее; рука моя уже коснулась полога, но я решила сначала заговорить, а потом уже отдернуть его. Мною все еще владел страх, что я увижу мертвое тело.

– Элен, – прошептала я тихо, – ты не спишь?

Она приподнялась, откинула полог, и я увидела ее лицо – бледное, изможденное, но совершенно спокойное. Она так мало изменилась, что мои опасения тотчас же рассеялись.

– Неужели это ты, Джейн? – спросила она своим обычным кротким голосом.

«О нет, – подумала я, – она не умирает, они ошибаются! У нее такое ясное лицо и такой спокойный голос; этого не может быть!»

Я села на кровать и поцеловала ее. Лоб у нее был холодный, лицо заметно похудело, а также пальцы и кисти рук; но она улыбалась по-старому.

– Как ты попала сюда, Джейн? Ведь уже двенадцатый час, я слышала, как пробило одиннадцать несколько минут назад.

– Я пришла повидать тебя, Элен: я узнала, что ты очень больна, и не могла уснуть, не поговорив с тобой.

– Значит, ты пришла проститься, и, вероятно, как раз вовремя.

– Ты разве уезжаешь куда-нибудь, Элен? Ты едешь домой?

– Да, я собираюсь в длинную дорогу, в мой последний дом.

– Нет, нет, Элен! – остановила я ее с отчаянием, стараясь сдержать слезы. В это время у Элен начался приступ кашля, однако няня не проснулась; когда приступ кончился, Элен пролежала несколько минут в полном изнеможении, затем шепнула:

– Джейн, у тебя ножки озябли. Ложись со мной и укройся моим одеялом.

Я так и сделала. Она охватила меня рукой, и я прижалась к ней. После долгого молчания она продолжала, все так же шепотом:

– Я очень счастлива, Джейн, и когда ты узнаешь, что я умерла, будь спокойна и не грусти, – грустить не о чем. Все мы когда-нибудь умрем, а моя болезнь не такая уж мучительная, она незаметно и мягко сводит меня в могилу. Моя душа спокойна. Я не оставляю никого, кто бы сильно горевал обо мне: у меня есть только отец, но он недавно женился и не очень будет скучать. Я умираю молодой и потому избегаю многих страданий. У меня нет тех способностей и талантов, которые помогают пробить себе дорогу в жизни. Я вечно попадала бы впросак.

– Но куда же ты уходишь, Элен? Разве ты видишь, разве ты знаешь?

– Я верю и надеюсь: я иду к Богу.

– А где Бог? Что такое Бог?

– Мой Творец и твой, он никогда не разрушит того, что создал. Я доверяюсь Его всемогуществу и Его доброте. Я считаю часы до той великой минуты, когда возвращусь к Нему.

– Значит, ты уверена, что есть такое место на небе и что наши души попадут туда, когда мы умрем?

– Я убеждена, что есть будущая жизнь, и я верю, что Бог добр.

– А я увижусь с тобой, Элен, когда умру?

– Ты достигнешь той же обители счастья; ты будешь принята тем же всемогущим и вездесущим Отцом, не сомневайся в этом, дорогая Джейн.

Снова я спросила, но на этот раз лишь мысленно: где же эта обитель и существует ли она? И я крепче обняла мою подругу, – она казалась мне дороже, чем когда-либо, я не в силах была расстаться с ней. Я лежала, прижавшись лицом к ее плечу. Вдруг она сказала с невыразимой нежностью:

– Как мне хорошо! Этот последний приступ кашля немного утомил меня; кажется, мне удастся заснуть. Но ты не уходи, Джейн; мне хочется, чтобы ты была со мной.

– Я останусь с тобой, моя дорогая Элен, никто не разлучит нас.

– Ты согрелась, детка?

– Да.

– Спокойной ночи, Джейн!

– Спокойной ночи, Элен!

Мы поцеловались и скоро обе задремали.

Когда я проснулась, был уже день. Меня разбудило ощущение, что я куда-то лечу; я открыла глаза и увидела, что кто-то несет меня на руках: это была няня, она несла меня по коридору в дортуар. Я не получила выговора за то, что ночью убежала к Элен, – окружающим было не до этого. Никто не отвечал на мои бесчисленные вопросы. Но день-два спустя я узнала, что мисс Темпл, вернувшись на рассвете в свою комнату, нашла меня в кровати Элен. Моя голова покоилась на ее плече, мои руки обнимали ее шею. Я спала, – Элен же была мертва.

Ее могила – на брокльбриджском кладбище. В течение пятнадцати лет над этой могилой был только зеленый холмик, но теперь там лежит серая мраморная плита, на которой высечено ее имя и слово «Resurgam»¹⁰.

¹⁰ «Воскресну» (лат.).

Глава X

До сих пор я описывала события моего неприметного существования во всех подробностях: первым десяти годам моей жизни я посвятила почти столько же глав. Но я не собираюсь давать здесь настоящую автобиографию и обращаюсь к своим воспоминаниям только в тех случаях, когда они могут представить какой-то интерес. Поэтому я обхожу молчанием период жизни в целых восемь лет, ибо для связности моего повествования достаточно будет нескольких строк.

Когда тиф выполнил в Ловуде свою опустошительную миссию, эпидемия постепенно угасла, – но лишь после того, как число ее жертв привлекло к нашей школе внимание общества. Было произведено расследование и обнаружены факты, вызвавшие глубокое возмущение. Нездоровая местность, скверная пища, которой кормили детей, и ее недостаточность, гнилая стоячая вода, убогая одежда и тяжелые условия жизни – когда все эти обстоятельства были обнаружены, они послужили не к чести мистера Брокльхерста, но нашей школе это пошло на пользу.

Группа богатых и благожелательных лиц, проживавших в этом графстве, пожертвовала крупные суммы на постройку более удобного здания в более здоровой местности. Были установлены новые правила, введены улучшения в питании и одежде, фонды школы были переданы комитету из доверенных лиц. Конечно, мистер Брокльхерст благодаря своему богатству и связям не мог быть отстранен совсем и остался казначеем, но близкое участие в делах школы приняли теперь и другие люди, более широких и просвещенных взглядов; точно так же и свои обязанности инспектора он должен был делить с теми, кто умел сочетать бережливость с благожелательностью и душевную твердость с состраданием. Школа, в которую были введены все эти новшества, стала затем действительно полезным и уважаемым учреждением. После ее преобразования я пробыла в ней восемь лет: шесть – в качестве ученицы и два года в качестве учительницы; и я могу на основании этого двустороннего опыта свидетельствовать, что дело в ней было поставлено хорошо и она приносила несомненную пользу. В течение этих восьми лет жизнь моя протекала однообразно. Однако ее нельзя было назвать несчастливой, так как она была деятельна; мне были даны все возможности получить прекрасное образование. Я любила некоторые предметы, стремилась преуспевать во всех, а также находила большую радость в том, чтобы получать одобрение моих наставниц, особенно тех, кого я ценила; таким образом, я не пренебрегала ни одной из предоставленных мне возможностей. В старшем классе я стала первой ученицей; потом мне была доверена работа учительницы, и я выполняла ее с большим усердием в течение двух лет. Но затем во мне произошла перемена.

Все это время мисс Темпл продолжала оставаться директрисой. Ей я обязана лучшей частью моих познаний; ее дружба, беседы с ней доставляли мне неизменную радость; она заменяла мне мать, наставницу, а позднее и подругу. Однако в то время, которое я описываю, она вышла замуж и вместе со своим мужем (священником и превосходным человеком, достойным такой жены) уехала в отдаленное графство – и, таким образом, была для меня потеряна.

С того самого дня, как она уехала, я стала другой: с ней исчезли все привязанности, которые делали для меня Ловуд чем-то вроде родного дома. Я впитала в себя что-то от ее натуры, многое из ее особенностей – более серьезные мысли, более гармонические чувства. Я приучилась к выполнению своего долга и к порядку. И я была спокойна, веря, что удовлетворена своей жизнью. В глазах других, а зачастую и в моих собственных, я казалась человеком дисциплинированным и уравновешенным.

Однако судьба в образе достойного мистера Нэсмита стала между мной и мисс Темпл. Мне суждено было увидеть, как она после совершения брачной церемонии, одетая по дорожному, садится в почтовую карету. Я следила глазами, как эта карета поднимается на холм

и затем исчезает за его хребтом. Затем я удалилась к себе и провела в одиночестве большую половину этого дня, так как в честь мисс Темпл уроки были частично отменены.

Я долго ходила взад и вперед по комнате. Мне казалось, что я предаюсь только сожалениям о своей утрате и стараюсь придумать, как бы ее возместить. Но когда, очнувшись от этих мыслей, я увидела, что день прошел и уже наступил вечер, мне открылось и другое: а именно, что за эти часы размышлений во мне самой произошла глубокая перемена, моя душа сбросила с себя все, что она позаимствовала у мисс Темпл, – вернее, моя дорогая наставница унесла с собой ту атмосферу мира и тишины, которой я дышала в ее присутствии, и теперь, оставшись наедине с собой, я вновь стала такой, какой была на самом деле, и во мне проснулись бывшие чувства. Не то чтобы я лишилась опоры, – но угас какой-то внутренний стимул; не спокойствие покинуло меня, но исчезли основания для этого спокойствия. В течение ряда лет мой мир был ограничен стенами Ловуда: я ничего не знала, кроме его правил и обычаев. Теперь же я вспомнила, что мир необъятен и что перед теми, кто отважится выйти на его простор, чтобы искать среди опасностей подлинного знания жизни, открывается широкое поле для надежд, страхов, радостей и волнений.

Я подошла к окну и открыла его. Вот они, оба крыла столь знакомого мне дома; вот и сад; вон границы Ловуда, а дальше – гористый горизонт... Мои глаза миновали все остальное и остановились на самом дальнем – на голубых вершинах: через них хотелось мне перебраться. Все заключенное в пределах этих скал и пустынных лесов показалось мне тюрьмой. Я следила взором за белой дорогой, извивавшейся вокруг подошвы одной из гор и исчезающей в ущелье между двумя склонами: как хотелось мне уйти по этой дороге! Я вспомнила тот день, когда ехала по ней в дилижансе, вспомнила, как мы спускались по ней в сумерках. Целый век, казалось мне, прошел с того дня, когда я впервые очутилась в Ловуде, а с тех пор я его уже не покидала. Каникулы я проводила в школе: миссис Рид никогда не приглашала меня в Гейтсхэд; ни она и никто из членов ее семьи ни разу не навестили меня. Ни письма, ни весточки из внешнего мира. Школьные правила, школьные обязанности, школьные привычки и понятия, те же голоса, лица, слова, те же одежды, симпатии и предубеждения – вот и все, что я знала о жизни. А теперь я чувствовала, что всего этого недостаточно. В этот вечер я ощутила усталость от восьмилетней рутины. Я хотела свободы, я жаждала ее. И я стала молиться о том, чтобы мне была дарована свобода. Но, казалось, слабое дыхание ветерка унесло мою молитву. Затем я стала просить о более скромном даре – о новом стимуле, о перемене. Но и эту просьбу точно развеяло в пространстве. Тогда я воскликнула почти в отчаянии: «Пошли мне хотя бы новое место!»

В это время зазвонил колокол к ужину, и мне пришлось сойти вниз.

Я не могла возобновить прерванный ход моих мыслей до тех пор, пока не улеглась в постель; но даже и тогда учительница, жившая со мной в комнате, ежеминутно отвлекала меня своей болтовней от тех вопросов, в которые я жаждала углубиться. Как я желала, чтобы мисс Грайс поскорей заснула! Казалось, стоит мне вернуться к той мысли, которая пришла мне в голову последней, когда я стояла у окна, и мне непременно откроется какой-то выход.

Наконец мисс Грайс захрапела. Это была тучная валлийка, ее носовые рулады всегда досаждали мне. Сегодня же я обрадовалась этим басовым звукам: наконец-то меня оставят в покое! Мои недодуманные мысли сразу ожили.

«Новое место! Это выход, – рассуждала я (разумеется, про себя). – Это, несомненно, выход! Именно потому, что это звучит не слишком заманчиво. Не то что сладостные слова – свобода, восторг, радость... Для меня они только звук пустой; они настолько далеки и нереальны, что прислушиваться к ним – значит попусту терять время. А вот работа – это нечто реальное. Трудиться может всякий. Я здесь трудилась восемь лет, и все, чего я хочу теперь, – это работать где-нибудь в другом месте. Неужели я даже этого не смогу добиться? Разве мое

желание невыполнимо? Нет, нет, это, в конце концов, вовсе не так трудно, надо только пораскинуть умом, как лучше взяться за дело».

И я села на кровати, чтобы хорошенько все обдумать. Ночь была холодная, я закуталась в платок и снова принялась усиленно размышлять.

«Чего я хочу? Нового места, жить в другом доме, среди новых лиц, в новых обстоятельствах. Я хочу этого потому, что желать другого бесполезно. Каким образом люди получают места? Они, видимо, обращаются к друзьям; у меня же нет никого. Но ведь немало людей, у которых тоже нет никого на свете; они все должны делать сами, сами себе помогать; как же они поступают?»

Я не знала, и ничто не подсказывало мне ответа. Напрасно я понукала свой мозг, чтобы он работал; я чувствовала, как кровь стучит у меня в висках. Примерно с час мысли мои были погружены в хаос, все путалось в голове, и я не могла прийти ни к какому выводу. Разгоряченная тщетными усилиями, я встала и начала ходить по комнате; отдернув занавеску, я увидела в небе несколько звезд и, наконец почувствовав, что окончательно продрогла, забралась под одеяло.

Однако в мое отсутствие добрая фея, видно, положила на мою подушку тот ответ, которого я так добивалась. Едва я опустила на нее голову, как в моем сознании спокойно и отчетливо прозвучали слова: «Те, кто ищет службы, дают объявление в «...ширском вестнике».

Но как? Я не знала, как даются объявления.

И снова последовал быстрый и точный ответ:

«Запечатать текст объявления и деньги в конверт и адресуй издателю «Вестника»; отнеси его при первой возможности на почту в Лоутон; адрес для ответа дай: «До востребования, Лоутонское почтовое отделение, на имя Дж. Э.». Ты можешь пойти туда справиться примерно через неделю после того, как пошлешь письмо. Если получишь ответ, в соответствии с ним и будешь действовать».

Я продумала этот план дважды, трижды, во всех деталях и, почувствовав удовлетворение, наконец заснула. Я проснулась очень рано; и еще не успел прозвонить звонок, как объявление было составлено, запечатано в конверт и надписан адрес. Оно гласило:

«Молодая особа, имеющая преподавательский опыт (разве я не была два года учительницей?), ищет место в частном доме к детям не старше четырнадцати лет. (Я решила, что, так как мне самой всего восемнадцать, было бы неразумно брать на себя руководство учениками почти моего возраста.) Кроме общих предметов, входящих в школьную программу, преподает также французский язык, рисование и музыку. (Теперь, читатель, этот список предметов обучения показался бы весьма ограниченным, но тогда он был обычен.)

Адрес: Лоутон, в ...ширском графстве, до востребования Дж. Э.».

Объявление пролежало весь день в моем ящике; после чая я попросила у новой директрисы разрешения пойти в Лоутон, чтобы сделать кое-какие покупки для себя и для двух-трех учительниц; она охотно отпустила меня, и я пустилась в путь. До Лоутона было две мили; день стоял сырой, но темнело еще не слишком рано. Я зашла в несколько лавок, опустила письмо в почтовый ящик и возвратилась под проливным дождем, промокшая до нитки, но с облегченным сердцем.

Следующая неделя мне показалась очень длинной. Наконец она прошла, как и все под луной, и вот я на склоне ясного осеннего дня опять оказалась на дороге, ведущей в Лоутон. Дорога эта была очень живописна, она шла вдоль речки, послушно следуя прихотливым извилинам ее русла; но в тот день я больше думала о письмах, которые, может быть, ждут меня в соседнем городке, чем о прелести лесов и вод.

Предлогом для моего путешествия послужила на этот раз примерка башмаков; я быстро покончила с этим делом, затем прошла маленькую тихую улочку, которая вела от лавки башмачника к почте. Почтой заведовала старушка в черных роговых очках и черных митенках.

– Скажите, пожалуйста, нет ли писем на имя Дж. Э.?

Она пристально посмотрела на меня поверх очков, открыла какой-то ящик, принялась шарить в нем и шарила так долго, что мои надежды начали уже угасать. Но вот она вынула оттуда конверт и в течение пяти минут изучала его самым внимательным образом. Затем она протянула мне письмо через стол, окинув меня пристальным и недоверчивым взглядом. Конверт был адресован на имя Дж. Э.

– Только одно? – спросила я.

– Больше нет, – отвечала она.

Я положила письмо в карман и направилась домой. У меня не было возможности вскрыть его сейчас же: правила школы требовали, чтобы я вернулась ровно в восемь, а было уже половина восьмого.

По моему возвращению меня ждали самые разнообразные обязанности: я должна была сидеть с воспитанницами во время приготовления ими уроков; затем была моя очередь читать молитву; затем я присутствовала при том, как они ложатся спать; затем ужинала вместе с остальными учительницами. И даже тогда, когда мы наконец разошлись по своим комнатам, мне еще предстояло выслушивать мисс Грайс. У нас был только огарок свечи, и я опасалась, что она проболтает до тех пор, пока от него ничего не останется. К счастью, плотный ужин оказал на мисс Грайс снотворное действие: не успела я раздеться, как она уже захрапела. В подсвечнике оставался еще кусочек свечи. И вот я наконец извлекла письмо; на печати была буква Ф. Я вскрыла его; письмо было очень кратким:

«Если Дж. Э., поместившая объявление в «...ширском вестнике» от последнего четверга, обладает всеми перечисленными ею данными и если она в состоянии представить удовлетворительные рекомендации относительно своего поведения и своих познаний, ей может быть предложено место воспитательницы к девятилетней девочке с вознаграждением в 30 фунтов за год. Просьба к Дж. Э. прислать указанные рекомендации, а также сообщить свое имя и фамилию, местожительство и другие необходимые сведения по адресу:

Мисс Фэйрфакс, Торнфильд, близ Милкота, в ...широком графстве».

Я долго рассматривала письмо; почерк был старомодный и довольно неуверенный, – так могла бы писать пожилая дама. Это обстоятельство меня обрадовало: я все время опасалась, как бы, действуя на свой страх и риск, не попасть в какую-нибудь неприятную историю, и больше всего на свете желала, чтобы мои поиски привели к чему-то достойному, приличному, *en regie*¹¹. «Пожилая дама, – рассуждала я, – это уже недурно».

Миссис Фэйрфакс! Я видела ее перед собой в черном платье и вдовьем чепце; может быть, несколько суховатая, но вежливая, – образец старомодной английской респектабельности. Торнфильд! Так, очевидно, называлось ее имение; вероятно, чистенькая, красивая усадьба, хотя вообразить ее мне было очень трудно. Милкот, в ...ширском графстве – я мысленно представила себе карту Англии. Да, вот они где – и графство, и город; на семьдесят миль ближе к Лондону, чем та отдаленная окраина, где я сейчас жила. Это обстоятельство привлекало меня. Мне хотелось видеть вокруг себя жизнь и движение; ведь Милкот – большой фабричный город, расположенный на берегах реки А.; там, наверно, суетливо и шумно, но тем лучше. Во всяком случае, это будет нечто совсем другое, чем здесь. Нельзя сказать, чтобы

¹¹ Солидному (*фр.*).

мое воображение было особенно пленено предстоящим зрелищем высоких фабричных труб и облаков черного дыма, но, размышляя я, Торнфильд, вероятно, находится далеко от города.

В эту минуту огарок догорел, и комната погрузилась во мрак.

На следующий день надо было предпринимать дальнейшие шаги. Я уже не могла больше таить свои планы: чтобы добиться их свершения, приходилось поделиться ими с окружающими.

Принятая директрисой во время полуденной перемены, я сказала ей, что собираюсь поступить на другое место, где жалованье будет вдвое больше того, которое мне платят здесь (в Ловуде я получала только пятнадцать фунтов в год); и я просила ее изложить мое дело мистеру Брокльхерсту или кому-нибудь другому из членов комитета, с тем чтобы заручиться для меня рекомендацией. Директриса любезно согласилась быть посредницей. На следующий день она рассказала обо всем мистеру Брокльхерсту, который ответил, что надо написать миссис Рид, так как она моя опекунша. Этой даме было отправлено соответствующее письмо, на которое она ответила, что я могу поступать, как хочу, ибо она уже давно отказалась от какого-либо вмешательства в мои дела. Письмо обошло всех членов комитета, это казалось мне ужасной проволочкой времени, – но я наконец все же получила официальное разрешение изменить к лучшему свою судьбу, если для этого представится случай; кроме того, мне обещали, что, поскольку я всегда вела себя хорошо и как учительница и как ученица, мне будет выдана соответствующая характеристика и свидетельство о моих познаниях за подписью инспектора нашего учреждения.

Этот документ я через месяц получила на руки и послала копию с него миссис Фэйрфакс, которая ответила мне, что она удовлетворена полученными сведениями и через две недели предлагает мне занять место гувернантки у нее в доме.

Я приступила к сборам, и две недели промелькнули незаметно. Мой гардероб был не особенно разнообразен, хотя вполне соответствовал моим потребностям, и я в один день успела уложить свой чемодан, тот самый, который восемь лет тому назад привезла из Гейтсхэда.

Чемодан затянули ремнями и наклеили на него ярлык. Через полчаса носильщик должен был отнести его в Лоутон, а я сама предполагала на следующее утро отправиться туда пешком, чтобы сесть в дилижанс. Я вычистила свое черное дорожное платье, приготовила шляпку, перчатки и муфту, осмотрела все ящики, чтобы убедиться, не забыто ли что-нибудь; и наконец, когда все дела были кончены, присела, чтобы хоть немного отдохнуть. Однако мне не сиделось на месте, хотя я и провела весь день на ногах. Я ни на минуту не могла успокоиться, волнение не покидало меня. Ведь сегодняшним днем заканчивался целый период моей жизни, а завтра начинался другой, и я уже приготовилась провести без сна эту разделявшую их ночь, лихорадочно наблюдая за тем, как совершается во мне переход от одного периода к другому.

– Мисс, – сказала горничная, встретив меня в вестибюле, где я металась, словно беспокойный дух, – вас внизу кто-то спрашивает.

«Наверно, носильщик», – решила я и тут же побежала в кухню. Я только что миновала маленькую гостиную, или учительскую, дверь которой была полуоткрыта, как оттуда кто-то выбежал.

– Она, она, я сразу узнала ее! Я бы ее везде узнала! – воскликнула какая-то особа, загораживая мне дорогу и хватая меня за руку.

Я взглянула на нее. Передо мною стояла женщина, одетая, как прислуга из богатого дома, полная, но еще молодая и красивая, черноволосая и черноглазая, с ярким цветом лица.

– Ну-ка, кто это, угадайте! – сказала она; ее голос и улыбка показались мне очень знакомыми. – Вы, наверно, не совсем забыли меня, мисс Джейн?

Через секунду я уже горячо обнимала и целовала ее.

– Бесси! Бесси! Бесси! – повторяла я; а она, смеясь и плача одновременно, тоже обнимала меня; мы обе вошли в гостиную.

Перед камином стоял маленький мальчик лет трех, в шотландской курточке и штанишках.

– А это мой сынок, – сразу же объяснила мне Бесси.

– Значит, вы вышли замуж, Бесси?

– Да, вот уже почти пять лет, как я замужем за Робертом Ливеном, нашим кучером; и у меня, кроме Бобби, есть еще маленькая девочка, я ее назвала Джейн.

– А вы что же, больше не живете в Гейтсхэде?

– Мы живем в домике привратника; тот, который был при вас, ушел.

– Ну, как они там все поживают? Расскажите мне все, все о них, Бесси! Но сначала сядьте. А ты, Бобби, не хочешь ли ко мне на коленки?

Но Бобби предпочел прижаться к матери.

– А вы нельзя сказать чтобы очень выросли, мисс Джейн, и не так уж пополнели, – продолжала миссис Ливен. – Видно, не очень-то вас сытно кормили в школе: вы на голову ниже старшей мисс Рид, да и в плечах она шире; а из мисс Джорджианы можно было бы выкроить двух таких, как вы.

– Джорджиана, верно, очень красивая, Бесси?

– Очень. В прошлую зиму она со своей мамой ездила в Лондон, и там все восхищались ею, а один молодой лорд влюбился в нее и хотел жениться, но его родные были против; и что же вы думаете, они сговорились с мисс Джорджианой убежать! Но их выследили и остановили. Мисс Рид выследила их; я думаю, это она из зависти; а теперь они с сестрой живут как кошка с собакой, вечно ругаются.

– Ну, а Джон Рид?

– О, дела у него не так хороши, как бы хотелось его маме. Он поступил было в университет, да его оттуда исключили – так, что ли, говорят? Потом его дяди хотели, чтобы он стал адвокатом и изучал право, но он такой беспутный молодой человек, никогда из него толку не выйдет, по-моему.

– А как он выглядит?

– Мистер Джон очень высокий. Некоторые считают, что он хорош собой, но у него ужасно толстые губы.

– А миссис Рид?

– Миссис расплнела и с лица ничего, но только в душе она беспокойна: ее огорчает поведение мистера Джона. Он пропасть денег транжирит.

– Это она вас послала сюда, Бесси?

– Конечно, нет! Мне самой уже давно хотелось повидать вас; и когда я узнала, что от вас было письмо и что вы собираетесь уехать куда-то далеко, я решила – поеду и взгляну на нее, пока она еще близко.

– Боюсь, что вы разочаровались во мне, Бесси. – Я сказала это смеясь, ибо заметила, что взгляд Бесси, хотя и почтительный, не выражал никакого восхищения.

– Нет, мисс Джейн, не то чтобы... Вы очень элегантны, настоящая леди. А большего я от вас и не ожидала: вы и ребенком не были красавицей.

Я улыбнулась ее искренним словам. Я чувствовала, что она права, но, сознаюсь, меня немного огорчил этот отзыв: в восемнадцать лет всякая девушка хочет нравиться, и сознание, что у нее неблагодарная внешность, не может быть ей особенно приятно.

– Но я уверена, что вы очень умная, – продолжала Бесси, стараясь меня утешить. – Чему вы научились? Вы умеете играть на рояле?

– Немного.

В комнате стоял рояль. Бесси открыла его и попросила меня сесть и что-нибудь сыграть. Я исполнила один-два вальса, и она с энтузиазмом заявила:

– Нашим барышням так не сыграть! Я всегда была уверена, что вы способнее ко всякому учению, чем они! А рисовать вы умеете? Да?

– Вот один из моих рисунков, над камином.

Это был пейзаж, сделанный акварелью. Я подарила его директрисе в благодарность за ее любезное посредничество; она вставила картину в рамку и под стекло.

– Но это же очень красиво, мисс Джейн! Лучше не нарисовал бы и наш учитель рисования, не говоря уже о самих барынях, которым до этого далеко, как до неба. А по-французски вы тоже научились?

– Да, Бесси, я читаю и говорю по-французски.

– И умеете вышивать и шить?

– Умею.

– О, да вы стали действительно настоящей леди, мисс Джейн! Я всегда была уверена, что так будет. Вы сами пробьетесь в жизни, без всяких родственников. Вот о чем я хотела спросить вас: вы когда-нибудь слышали о родных вашего отца, мисс Эйр?

– Никогда.

– Вы знаете, миссис всегда говорила, что они бедные и простые. Может быть, они и бедные, но я уверена, что они такие же благородные, как и Риды. Один раз, лет семь тому назад, в Гейтсхэд приезжал какой-то мистер Эйр и хотел повидать вас; миссис сказала, что вы в школе, за пятьдесят миль от нашего дома. Он, видно, был очень огорчен, так как не мог дольше задерживаться. Мистер Эйр уезжал куда-то за границу, и судно должно было уйти из Лондона через день-два. На вид он настоящий джентльмен, и я думаю, что это был брат вашего отца.

– А куда же он ехал, Бесси?

– На какой-то остров, за тысячу миль, где вино делают. Мне буфетчик объяснил...

– На Мадейру? – догадалась я.

– Да, да, вот именно, – он так называл.

– Значит, он уехал?

– Да, он и нескольких минут не пробыл у нас. Миссис держалась с ним очень гордо. Она потом называла его: «Этот паршивый торговец». Мой Роберт предполагает, что он торгует вином.

– Очень возможно, – ответила я, – а может быть, он агент или служащий винодельческой фирмы.

Мы с Бесси побеседовали о старине больше часа, затем она ушла. Я виделась с нею в течение нескольких минут на другое утро в Лоутоне, когда дожидалась дилижанса. Мы окончательно простились перед дверью гостиницы «Герб Брокльхерстов» и разошлись в разные стороны: она направилась к вершине холма, чтобы там дожидаться okazji для возвращения в Гейтсхэд; я села в дилижанс, которому предстояло отвезти меня в неведомые окрестности Милкота, где меня ждали другие обязанности и другая жизнь.

Глава XI

Новая глава романа похожа на новое действие в пьесе. И когда я на этот раз отдерну перед тобой занавес, читатель, вообрази себе комнату в милкотской гостинице «Георг», оклеенную безвкусными обоями, какие обычно бывают в гостиницах; вообрази ковер под стать обоям, обычную мебель, украшения над камином, олеографии на стенах и среди них обязательные портреты Георга III и принца Уэльского, а также картину, изображающую смерть генерала Вольфа. Все это освещает керосиновая лампа, висящая посередине потолка, и яркий огонь камина, возле которого я сижу в плаще и шляпке; моя муфта и зонтик лежат на столе, и я стараюсь распрямить свои измятые и онемевшие члены, скованные шестнадцатичасовым путешествием в холодный октябрьский день. Я выехала из Лоутона в четыре утра, а часы в Милкоте только что пробили восемь.

Но хотя тебе и покажется, читатель, что я чувствую себя в этой комнате очень уютно, на самом деле душа моя неспокойна. Я ожидала, что, когда приеду на место, здесь меня кто-нибудь встретит, и, спускаясь по деревянным ступенькам лестницы, которую служитель гостиницы приставил к дилижансу для моего удобства, надеялась, что услышу свою фамилию и увижу экипаж, готовый отвезти меня в Торнфилд. Однако ничего подобного не случилось, и когда я осведомилась у слуги, не спрашивал ли кто-нибудь мисс Эйр, я получила отрицательный ответ. Поэтому мне оставалось только попросить в гостинице отдельную комнату. И вот я ждала в тревоге, осаждаемая всевозможными сомнениями и страхами.

Какое мучительное ощущение для юного существа – почувствовать себя совершенно одиноким в мире, покинутым на произвол судьбы, терзаться сомнениями – удастся ли ему достичь той гавани, в которую оно направляется, сознавать, что возвращение, по многим причинам, уже невозможно. Правда, это ощущение смягчалось присущим каждому приключению очарованием, и меня согревало пламя гордости; но затем страх снова заслонял эти чувства; и когда по истечении получаса я все еще была одна, страх возобладал над всем. Наконец я заставила себя позвонить.

– Есть тут по соседству имение под названием Торнфилд? – спросила я слугу, который явился на мой звонок.

– Торнфилд? Не слыхал, сударыня. Я сейчас спрошу в ресторане. – Он исчез, но возвратился немедленно. – Ваша фамилия Эйр, мисс?

– Да.

– Там вас ожидают.

Я вскочила, взяла свою муфту, зонтик и поспешила в коридор. Перед открытой дверью стоял какой-то человек, а на озаренной уличными фонарями мостовой я смутно различила очертания одноконного экипажа.

– Это, наверно, ваш багаж? – сказал человек отрывисто, увидев меня и указывая на мой чемодан, который стоял на полу коридора.

– Да.

Он погрузил мой чемодан в экипаж, нечто вроде небольшой кареты; я тоже села в нее. Когда кучер закрывал дверцу, я спросила, далеко ли до Торнфилда.

– Миль шесть будет.

– А сколько мы проедем?

– Примерно часа полтора.

Он захлопнул дверцу, взобрался на козлы, и мы тронулись в путь. Мы ехали не спеша, и у меня было достаточно времени для размышлений. Я радовалась, что приближается конец моему путешествию, и, откинувшись на спинку этого удобного, хотя и скромного экипажа, отдалась своим мечтам.

«Вероятно, – думала я, – судя по простоте экипажа и кучера, миссис Фэйрфакс не очень богатая женщина. Тем лучше; я уже жила среди богатых людей и была очень несчастна. Интересно, одна ли миссис Фэйрфакс в доме с этой девочкой? Если это так и она хоть сколько-нибудь приветлива, я уверена, что мы поладим: во всяком случае, я буду стараться. Как жаль, что такие старания не всегда приводят к цели. В Ловуде я приняла решение стараться, была ему верна и добилась хороших результатов; но я слишком живо помню, как все мои попытки угодить миссис Рид встречали с ее стороны только насмешки. Дай Бог, чтобы миссис Фэйрфакс не оказалась второй миссис Рид; впрочем, если это и случится, я не обязана оставаться у нее. В самом крайнем случае я снова поищу себе места. Интересно, далеко ли мы отъехали?»

Я опустила окно и выглянула наружу. Милкот был позади; судя по обилию огней, это был большой город, гораздо больше Лоутона. Сейчас, насколько я могла судить, мы проезжали обширный выгон, но кругом были разбросаны отдельные дома. Я видела, что мы находимся в совершенно иной местности, чем Ловуд, – более многолюдной, но менее живописной, более оживленной, но менее романтической.

Дороги были грязны, ночь туманна. Кучер почти все время ехал шагом, и полтора часа, наверно, растянулись до двух; наконец он обернулся ко мне и сказал:

– Ну, теперь недалеко и до Торнфилда.

Я снова выглянула в окно; мы проезжали мимо церкви: я увидела на фоне неба очертания приземистой колокольни, колокола которой как раз вызванивали четверть. Я увидела также на склоне холма узкую полоску огней, – это был, вероятно, поселок или деревенька. Минут десять спустя кучер слез и открыл ворота: мы въехали, и они захлопнулись за нами. Мы медленно поднялись по аллее и скоро очутились перед домом. В одном окне сквозь занавески пробивался свет, все остальные были темны. Лошадь остановилась у подъезда. Я вышла из экипажа и вступила в дом.

Дверь отперла горничная.

– Прошу вас следовать за мной, сударыня, – сказала она.

Через большой квадратный холл со множеством высоких дверей она проводила меня в комнату, ярко освещенную свечами и пламенем камина, и я в первую минуту была почти ослеплена, таким резким показался мне этот свет после темноты, окружавшей меня в течение двух часов; когда я к нему привыкла, моим глазам представилась приветливая картина.

Вообразите себе маленькую уютную комнату; у жаркого камина круглый стол; в старинном кресле с высокой спинкой сидит самая чистенькая и аккуратная старушка, какую только можно себе представить, в чепце, черном шелковом платье и белоснежном кисейном переднике, – в точности такая, какой я рисовала себе миссис Фэйрфакс, только менее представительная и более кроткая. Старушка вязала. У ее ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был совершенный идеал домашнего уюта. Трудно было вообразить более успокаивающую встречу для вновь прибывшей молодой гувернантки; здесь вас не угнетало никакое величие, не смущала никакая пышность. Когда я вошла, старая дама торопливо и радушно поднялась мне навстречу.

– Ну, как вы себя чувствуете, моя дорогая? Боюсь, что вы очень устали с дороги. Джон ведь везет так медленно, и вы, наверно, озябли? Подойдите к огню.

– Миссис Фэйрфакс, вероятно? – спросила я.

– Да, вы угадали. Садитесь же.

Она проводила меня к самому креслу, затем начала разматывать мой шарф и развязывать ленты шляпки; я попросила ее не беспокоиться.

– О, какое же тут беспокойство; ваши руки, наверно, совсем онемели от холода. Ли, приготовьте поскорей горячий грог и несколько сандвичей; вот вам ключи от кладовой.

И она извлекла из кармана чрезвычайно внушительную связку ключей и вручила их горничной.

– Пододвигайтесь же к камину, – продолжала она. – Вы ведь привезли с собой ваш багаж, дорогая?

– Да, сударыня.

– Я сейчас прикажу отнести его к вам в комнату, – сказала она и суетливо вышла.

«Она обращается со мной как с гостьей, – подумала я. – Вот не ожидала такого приема! Я предполагала встретить холодность и чопорность! Что-то я не слышала, чтобы так обходились с гувернанткой; однако радоваться еще рано».

Она вернулась, сама убрала со стола свое вязанье и несколько книг, чтобы освободить место для подноса, который принесла Ли, и принялась меня угощать. Я была смущена тем, что оказалась предметом такого внимания, какого мне до сих пор никто не оказывал, и притом со стороны особы, в подчинении у которой я должна была находиться. Но так как она сама, видимо, не придавала этому никакого значения, я решила, что лучше спокойно принять ее любезность.

– Я буду иметь удовольствие видеть сегодня вечером мисс Фэйрфакс? – спросила я, подкрепившись.

– Что вы говорите, моя дорогая? Я глуховата... – отозвалась старая дама, приближая свое ухо к моим губам.

Я повторила свой вопрос несколько отчетливей.

– Мисс Фэйрфакс? О, вы, наверно, имеете в виду мисс Варанс? Фамилия вашей будущей ученицы – Варанс.

– Вот как! Значит, это не ваша дочь?

– Нет, я одинока.

Я охотно продолжила бы этот первый разговор, спросив, какая же связь между нею и мисс Варанс, но вспомнила, что невежливо задавать слишком много вопросов. Кроме того, я знала, что постепенно все выяснится само собой.

– Я так рада, – продолжала она, садясь против меня и беря кошку на колени, – я так рада, что вы наконец приехали; будет очень приятно жить не одной. Жизнь здесь имеет, конечно, свои прелести. Торнфильд – прекрасный старинный дом, но он уже давно запущен, хотя и сохранил прежнее величие; а все-таки в зимнее время тоскуешь и в самых пышных хоромаш. Ли, конечно, хорошая девушка, а Джон и его жена вполне достойные люди, – но, видите ли, ведь это все-таки слуги, и с ними нельзя общаться, как с равными: нужно соблюдать расстояние, иначе потеряешь авторитет. В течение прошлой зимы (это была очень суровая зима, если помните, – то снег идет, то дождь и ветер), от ноября до февраля, мы здесь не видели никого, кроме мясника да почтальона, и я просто себе места не находила в одинокие долгие вечера. Правда, Ли мне иногда читала вслух, но, думаю, бедную девушку это только стесняло. Весной и летом здесь, конечно, лучше: совсем другое дело, когда светит солнце и дни такие длинные. А потом, в начале осени, приехала маленькая Адель Варанс с няней, ребенок сразу вносит в дом оживление; теперь еще вы приехали, и будет совсем весело.

Мне стало тепло на сердце от слов этой достойной старушки; я придвинула свое кресло поближе к ней и высказала искреннее пожелание, чтобы мое общество оказалось для нее таким приятным, как она надеялась.

– Но нынче я не дам вам сидеть поздно, – сказала она, – уже двенадцатый час, а вы были в пути весь день и, наверно, очень устали. Если ноги у вас согрелись, я провожу вас в вашу спальню. Я приказала приготовить вам комнату рядом с моей; правда, она небольшая, но, я думаю, вам там будет лучше, чем в одном из этих больших парадных покоев: в них только мебель красивая, но они такие пустые, унылые, я сама там никогда не сплю.

Я поблагодарила ее за внимание и, так как действительно чувствовала себя утомленной после длинного путешествия, выразила готовность уйти к себе. Она взяла свечу, и я последовала за ней. Проверив, заперта ли входная дверь, и вынув ключ из замка, она стала подниматься

по лестнице. Ступени и перила были дубовые; окно над лестницей – высокое, с цветными стеклами; и это окно, и длинный коридор, в который выходили двери спален, напоминали скорее церковь, чем жилой дом. На лестнице и в коридоре было холодно, как в подвале, и веяло пустотой и одиночеством; поэтому я была рада, когда наконец очутилась в своей комнате – небольшой и обставленной в самом обычном современном стиле.

Миссис Фэйрфакс пожелала мне спокойной ночи, я заперла дверь и осмотрелась; приветливый вид этой маленькой комнаты сгладил впечатление от пустого унылого холла, огромной неосвещенной лестницы и длинного холодного коридора. И я поняла, что после целого дня физической усталости и душевного напряжения я наконец достигла безопасной пристани. Сердце мое исполнилось радости, и я опустилась на колени возле кровати, вознося горячую благодарность тому, кого надлежало благодарить, и не позабыла, перед тем как подняться с колен, попросить, чтобы он ниспослал мне свою помощь и на моем дальнейшем пути и чтобы я оказалась достойной дарованной мне милости, которой еще ничем не заслужила. В эту ночь мне представлялось, что мое ложе не имеет шипов и что в моей комнате не таится никаких страхов. Усталая и довольная, я быстро и крепко заснула. Когда я проснулась, был уже день.

Солнце светило сквозь голубые ситцевые занавески, и моя комната показалась мне особенно веселой и приветливой с ее оклеенными обоями стенами и ковром на полу; все это было так мало похоже на захватанные оштукатуренные стены Ловуда и голые доски его полов, что я сразу почувствовала прилив бодрости. Ведь юность очень чувствительна к внешним впечатлениям. Я подумала, что новая жизнь для меня уже началась и что в ней будут не только огорчения и трудности, но также удовольствия и радости. Мне казалось, что перемена обстановки и появление новых надежд оживляют во мне все мои силы и способности. Я не могу сказать в точности, чего я ожидала, но чего-то приятного: может быть, не сегодня и не через месяц, но когда-нибудь, в неопределенном будущем.

Я встала и тщательно оделась. Несмотря на вынужденную скромность – все мои туалеты отличались крайней простотой, – я от природы любила изящество, не в моих привычках было пренебрегать своим внешним видом и тем впечатлением, которое я произвожу: напротив, я всегда старалась выглядеть как можно лучше, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить свое стремление к красоте. Иногда я сожалела о том, что недостаточно красива. Мне хотелось, чтобы у меня были румяные щеки, точеный нос и маленький алый ротик, хотелось быть высокой, стройной и хорошо сложенной; мне казалось большим несчастьем, что я такая маленькая, бледная, что черты у меня неправильные и резкие. Откуда взялись эти желания и сожаления? Трудно сказать, я и сама не знала, откуда они. И вот я причесалась как можно тщательнее, надела свое черное платье – увы, оно имело квакерский вид, но зато сидело прекрасно, – пришла новую белую манишку и решила, что у меня достаточно респектабельная внешность, чтобы предстать перед миссис Фэйрфакс, и что моя ученица, по крайней мере, не испугается меня. Раскрыв окно и проверив, все ли в порядке на моем туалетном столике, я вышла.

Я миновала длинный, застланный дорожкой коридор и спустилась по гладким и скользким дубовым ступеням, затем вошла в холл. Здесь я задержалась на несколько минут и занялась осмотром картин на стенах (на одной, как я помню, был изображен угрюмый мужчина в кирасе, а на другой – дама с напудренными волосами и жемчужным ожерельем вокруг шеи), бронзовой лампы, свисавшей с потолка, и больших настенных часов, потемневших от времени, в футляре с причудливой резьбой. Все казалось мне здесь чрезвычайно торжественным и внушительным, – но ведь я еще так мало видела в жизни. Дверь холла, до половины застекленная, оказалась открытой; я переступила ее порог. Было чудесное осеннее утро. Солнце ласково освещало разноцветную листву рощ и все еще зеленые поля. Выйдя на лужайку, я обернулась, чтобы взглянуть на фасад дома. Дом был трехэтажный, не слишком большой, но внушительный: не замок вельможи, а усадьба джентльмена. Зубчатые стены придавали ему особенно живописный вид. Каменный серый фасад четко выделялся на фоне деревьев парка, унизанных черными грачи-

ными гнездами, обитатели которых носились вокруг. Они летали над лужайкой и деревьями и опускались на большую поляну, отделенную от парка только разрушенной оградой. Вдоль нее стоял ряд огромных, мощных деревьев – ветвистых, узловатых и величественных, точно дубы; это был особый вид боярышника, и я сразу поняла, почему Торнфильд¹² назван так. Дальше тянулись холмы, они были не так высоки и круты, как в Ловуде, и не казались барьером, отделяющим усадьбу от остального мира; все же их склоны были тихи и пустынные, и цепь этих холмов, окружая Торнфильд, придавала ему ту уединенность, которой нельзя было ожидать в местности, столь близкой к оживленному Милкоту. По склону одного из холмов карабкалась деревенька, крыши которой были осенены большими деревьями. Церковь стояла ближе к усадьбе. Ее старинная колокольня выглядывала из-за небольшого пригорка между домом и воротами.

Я все еще наслаждалась этим мирным видом и приятной свежестью утреннего воздуха, все еще прислушивалась к крику грачей и любовалась старинным фасадом дома, размышляя о том, как должна была чувствовать себя здесь одинокая скромная старушка, какой была миссис Фэйрфакс, когда она сама появилась на пороге.

– Вы уже встали? – сказала она. – Да вы, я вижу, ранняя птичка.

Я подошла к ней, она приветливо поздоровалась со мной и поцеловала меня в щеку.

– Ну, как вам нравится Торнфильд? – спросила она.

Я сказала, что очень нравится.

– Да, – продолжала она, – красивое место; но я боюсь, что если мистер Рочестер не надумает окончательно здесь поселиться или хотя бы чаще наезжать сюда, все придет в упадок: такие дома и парки требуют постоянного присутствия хозяина.

– Мистер Рочестер? – воскликнула я. – Кто же это?

– Владелец Торнфильда, – спокойно отозвалась она. – Разве вы не знали, что его зовут Рочестер?

¹² *Thorn tree (англ.)* – боярышник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.